

## СЛИШКОМ ПОЗДНО И НЕМНОГО ЗАВТРА

### 1. Вокруг Парменида

Когда говорят о философии, какой ей надлежит быть, это значит, что ее уже нет, и требуются заменители, эрзацы, которыми, как затычками, заделывают пробоины, наклеивая пластыри и шпаклюя трещины и каверны бытия, через которые рвется сквозняк вечности. Опоздание навсегда. «Хотя ничто не слишком». Первофилософия в беспамятстве. Она не помнит о чем она, откуда. Впадает в детство, как в «навсегда», в «навек».

И тогда в философии, словно в прессе, начинаются кампании, расписывающие все прелести детского возраста, вплоть до хождения под себя. Будем как дети. Однако, при всех ухищрениях, непосредственность ускользает. В сущности, искомая невинность — следствие вполне осознанной вины и за содеянное и за несодеянное, возможен еще уход не в детство, а в декларируемое безумие: «И ты, Брут, проданся большевикам? Где мои слоны, где мои магараджи?» Но все это плохо замаскированная попытка уйти от не столько ответственности, сколько ответа, хотя, и от мучительного вопрошания, когда все ясно и вопрошать больше не о чем. Отвечать на вопросы, которые не задают. Забыться в себе самом-чужом. Ничто не отвечает, хотя бы эхом. Не отражает и не отражается. Отказ от ума, мышления, духа, бытия во имя простого существования, где бытие присутствует, а жизнь только ожидается или уже не ждет, не покидая, а игнорируя. Жизнь взаимы и понарошку, вся в игровом поле, в пределах очевидности. Поскольку тщательно избавляется от серьезности, то тяготеет к существованию по видимости. А потому задача состоит в сотворении, как фигуры умолчания, простого высказывания, показывания, демонстрации,

то есть, в миграции от видимости к выказыванию по всей видимости. Как выразился бы Прокл: «Порядок следования апофатическим определениям».

Поскольку былой простор мышления забит пылью, как на старой ткацкой фабрике, очень коротких бессвязных концепций-мнений — вычесов-отходов производства, отходов мышления, — мусором (мышления мусором и мусором мышления, ошметками, пылью, которые умножаются интернетом и не утилизируются, — ткань невозможна, зато все сводится к выбору, перебором случайных явлений, связанных пространством свалки.

В принципе, все равно, изгальтаться ли по Платону или выбирать между комментарием к его «Пармениду» Прокла или схоларха платоновской академии Дамаския, брести по Канту, занимаясь старанием с драгой — авось что-то намоешь, может, рассматривать его концепции, словно запущенный ботанический сад, где скуки ради собираешь гербарий цитат, или предпочитать Шеллинга во всех условных периодах, использовать брендовые французские модели, побираться у Маркса или просто пользоваться удобной, как пипифакс, какой-нибудь одноразовой американской конвейерной механической штамповкой, которую не то, что теорией, мыслью назвать трудно, называй ее хоть аналитической, хоть функциональной, или с надрывом верить русской религиозной философии, картинно бия поклоны, отбивая ритм лбом и крестясь на иконостас, составляя святцы, намаливая здравие, упокой, а то и предавая анафеме, рассматривать всю историю как большой Диснейленд, где все собрано на нескольких гектарах, и индийское, и китайское, развлекаться напропалую, относиться с благоговением или пользоваться самопальной, кустарной, собственной, свитой, как гнездо у городских птиц, из пластмассовых палочек (с восхищением увидел такое на своем балконе: расстарались, натаскали голуби-урбаноиды — «летающие крысы больших и малых городов», как говорил Атрюр Рембо), которыми помешивают кофе в дешевых забегаловках — суть в том, что все тонет в ползучем бытовании вместо бытия, все используется, превращаясь в сор.

Подвизающиеся на этой ниве не похожи на коллекционеров, собирающих коллекции имен к случайно выбранной теме (не проблеме), они действуют, словно навозные жуки, скатывая свои миры из навоза отслуживших, но столь необходимых для жизнедеятельности форм. Навозный шар, совершенный по форме (почти по Пармениду), можно представить как солнце, а жук может быть сим-

волом целой цивилизации, называясь скарабеем, но суть прежняя — это навозный жук, который, конечно, занимает свое место в (пищевой) цепочке жизни, как и паразиты, без которых не освятится ни одна эволюционная ветвь.

Но суть не в этом. Когда останавливается развитие, которое требует постоянного снятия и происхождения в противоречии в иное, когда оно, к тому же, поворачивает вспять, то в этом есть свой резон и своя прелесть: как же, каждое мгновение существования становится самоценным, и эти ценности теряют одновременность, превращаясь в простое околореальное существование, вернее, в набор никак не связанных между собой движений рядовременностей.

Можно бесконечно колушаться в одном каком-нибудь фрагменте, воспроизводя его в одной и той же определенности. И это даже не «свитие» (А. Карсавин), а простой перебор вариантов. Конечно. Нет двух одинаковых капель воды, двух одинаковых штамповок с конвейера, двух одинаковых листов в лесу, не говоря уже о людях. Можно на этом основании нести любую чушь, поскольку и чушь на фоне серого мира одномерностей выглядит роскошней некуда. Всё, даже перистальтика или прыщ на соответствующем месте, действительно становится философской проблемой. С ними не только о философии, но и о музыке с поэзией забудешь, все сводится к фурункулезу. (Правда, история знает немало примеров, вроде Плотина с его золотухой или Маркса с упомянутым недугом, что не помешало им заниматься подлинно философскими проблемами, и весьма успешно. Но все же, когда философия сама становится прыщевой, а то и прыщом, то вряд ли это следствие ее гормонального всплеска и пубертатного периода. Скорее — клиническая картина мира, заболевшего отнюдь не философией, хотя Ницше и утверждал, что дух — это болезнь.)

Так что ложно поставленные, кажущиеся проблемы, призраки, которые гордо именуют экзистенциальными, вполне заслуживают обслуживания третъесортной, нагло полагающей себя трансцендентальной, психологией, которой вполне достаточно в житейских ситуациях, но недостаточно для того, чтобы называться мышлением.

Так что вопрос о философии, не то, что о ее актуальности — праздный. Принципиальное непонимание философии, подмененное стандартизированными продиктованными схемами принудительной самоидентификации, философским джазом и откровенной пошлой шлягерностью (выдаваемой за *шляхетність*, обязательной принадлежностью, как брендом, дескать, «свои») выказы-

вает и обратную ретенцию подобной интенции: философия отказывается понимать нас и современность в целом, как бы ее ни принуждали к этому. Да и что здесь понимать, если ее основной интерес к человеку уничтожен ввиду отсутствия человека и человеческого. Его лишность и нетость и становится предметом современной мысли, там, где она еще агонизирует и не подменена чипом категорического силлогизма и обязательностью места имения, обладания набором гаджетов, к которому отнесены и убогие шаблонные эмоции, подменяющие непостижимые и потому отброшенные за ненадобностью чувства. Они не рождаются, не пребывают, не вочеловечиваются, не воображаются в человека, преобразуя его и становясь сущностными силами, а если и существуют, то только у немногих по очень старой памяти. Скучиваясь на бесконечно маленькой территории отчаянно обороняющейся универсальности случайной свободы, ограниченной «личностью», от которой свобода не смогла избавиться и использует ее в качестве защиты от внешней необходимости, сдерживая чувства, — они могут быть.

Вообще-то речь не о философии, искусстве и прочих формах, речь идет о действительном опоздании к самим себе. Все уже закончилось. Отошли. Шапочный разбор. Остается только долг быть такими, как надлежит, если бы... Принуждение к самому себе, к жизни как неизбежности. Быть «в то время, как...» Независимо от желания, заведомо зная, что вслед, вдогонку мы можем видеть только тускнеющие грандиозные, настоящие проблемы, манящие своим благородством, но недостижимые ввиду сопротивления времени, с которым у нас «трение». Эти трения с так называемой современностью, чтобы не сказать «тёрки», мешают даже абстрагированием и отмахиванием от «актуальных» тем, которые, как лай взбесившейся собаки, мешают сосредоточиться на том, что действительно достойно называться проблемой. Опоздали быть собой. Решительно и беспощадно. Хотя жить никогда не поздно. Вот на это никогда и опоздали. Кому теперь объяснишь, что, к примеру, проблема красоты — это единственная проблема философии, и оправдание человечества, если нет органа восприятия? Опоздание, как предательство. И не на уровне действительности, ладно бы, не получилось, время еще не пришло, а уже в идее. Сознательное размазывание себя по бытию. Особенно это заметно по холопским замашкам художников, музыкантов, людей искусства вообще, и холуйским, с наслаждением, сентенциям философов, литераторов, о критиках и искусствоведах вооб-

ще речь не идет, как и о прочих менеджерах, кураторах, галеристах, меценатах, банкирах — всей этой кожде порожденных абстрактной формой стоимости — о них уже давно все сказано.

Иными словами, сущность свободы в том, что она невозможна в нынешнем мире и в тот же момент представляет «бытие-возможность» случайной свободы, которая в мгновенном, и это мгновение постоянно, оно обречено, но не вынуждено быть «всегда» превращает(ся) собой, и потому развивается интенсивно, а не экстенсивно. Просто существовать без становления она не может и не хочет.

И хотя вечность, свобода и бесконечность, абсолютная красота (различные оттенки одного и того же, разные имена, именем которых действуют сущностные силы), даже ограниченные, оговоренные временем в себе-и-для-себя, все равно потенциально и актуально бесконечны, — именно граница, а не пространство, указывает место, время — хронотоп, о чем уже знал Джордано Бруно, за что и поплатился. (Хотя, как по мне, — за то, что упростил донельзя теорию, обнося своего предшественника Николая из Кузы, впрочем, если сравнивать с нынешними простейшими, то он — недосягаемая бездна.)

Когда абсолютное ограничивается и ограничивает, оно, оставаясь собой по сути, становится акциденцией, то есть случайным и не существенным по действительности, превращаясь в «адский пламень», черный свет, сжигающий изнутри. И это бы ничего, если бы само развитие, жизнь не превращалась при этом в рутину тоскливого ползучего существования.

Спасительный обман экзистенции, самокопание может давать впечатляющие результаты, как, например, в «Дневниках» Витольда Гомбровича, которые носят убаюкивающий характер, выполняют роль транквилизатора, наркотика, но при пристальном рассмотрении представляют картину величайшего и законченного поражения философствующего «я», о торжестве которого заботится автор. «Я», упиваясь своей ничтожностью и сиротством, позволяет себе быть всем, только не собой. Это не категорическое суждение, но при всем восторге перед этой несколько запоздавшей книгой, остается некоторая радость, что прочел ее позднее, чем хотелось бы. Попадись она мне в молодости, я был бы убит и раздавлен, да и сейчас, после такого, не то что писать — жить не хочется, хотя автор сплошь и рядом пишет о своей удавшейся попытке избежать экзистенциалистской заразы. «Чем объяснить, почему экзистенциализм меня

не соблазнил? Возможно, я был недалеко от того, чтобы выбрать существование, которое они называют истинным, в противовес той легкомысленной, сиюминутной, быстротечной жизни, которую они называют обиденной. Таким сильным было давление духа серьезности со всех сторон. Сегодня, в наше суровое время, нет ни такой мысли, ни такого искусства, которое не зывало бы во весь голос: не уклоняйся, не играй, ввяжись в борьбу, возьми на себя всю ответственность, не увертывайся, не убегай! Хорошо! Но, кроме всего прочего, я предпочел бы еще не врать своей собственной жизни. Так что я пробовал жить истинной жизнью и быть абсолютно лояльным по отношению к экзистенции. И что же? А ничего, ничего не получилось. Не вышло, потому, что истинность оказалась еще более лживой, чем все мои предыдущие финты, забавы и метания вместе взятые» [1]. И дальше: «Невыносимость как раз в экзистенциализме. Пока философия спекулировала в отрыве от жизни, пока она была чистым разумом, строящим свои абстракции, она не была до такой степени насилием, оскорблением, смехотворностью. Мысль была сама по себе, а жизнь сама по себе» [2].

Экзистенциализм давно почил в Бозе, и обращение к нему ничего не доказывает, зато его обращение к нам очень предметно показывает ничтожность жизни. Захват случайной, нейтральной, не скажу свободной, территории нашего я, как тяжелой болезнью, несовместимой с жизнью, избавиться от которой невозможно, по крайней мере, на действительных основаниях современности. Тут невозможна не только мысль, но и бытие и жизнь.

Самое паскудное — неизбежность, когда никакими «фрашками» (короткое шутовское стихотворение, в основе которого лежит остроумное высказывание или анекдот) философии вы не сможете отделаться от экзистенции Единственного, подменившего Единое, и Гомбрович абсолютно прав, — это гомерический смех, который сводит всю агрессию экзистенциализма (очень хитрую тем, что она оправдывает его существование во всех формах), да и философии вкуче с разумом, на нет, когда ты перед многомудрой философией выбираешь в пользу несерьезности жизни, ее великолепного юмора, жизни, всякий раз в конечном итоге демонстрирующей всю трагикомичность философии. Все это так. Если не задаваться вопросом, что считать жизнью. И что делать, если для тебя философия и есть жизнь? Так что философия, при всей своей серьезности, и есть источник величайшего остроумия и, если хотите, юмора. Только увидеть и распознать такое может только тот, кто в себе воспи-

тал настолько совершенный органон духовидения и абсолютный слух, что в самых серьезных пассажах Канта, Спинозы, Шеллинга или того же Маркса, может увидеть фантастический юмор и весело смеяться над категорическими силлогизмами, над временем, потешаться над смертью (которая только для молодости представляет проблему и интерес. Вопрос жизни и смерти мало занимает воображение пожилых), и, конечно, над собой, хотя и не общепринятым бездумным реготом, но и не подхихикивая над трагедией бытия, распевая «Со святыми упокой» и «Вечную память» на мотив «Барыни» или «Маруся отравилась», хотя и это по нынешним временам выгладит культурным действием, почти авангардной акцией — кто знает мотив «Барыни»?

Неслучайно никому не удавалось, при многих попытках, остроумно исследовать остроумие. Оно принимается без доказательств. Так и настоящая философия, которая, видимо, не исчезает, исчезая из видимости, вернее, ее пределов и приделов, но может не прочитываться или являться избирательно, не всем. А только, пусть случайно, но действительно свободным людям, которые, как правило, не интересуются вопросом о том, философы ли они или нет, не считают себя поэтами.

Поэтому «Экзистенциализм невозможно перескочить, его надо победить. Но вы не победите его дискуссией, поскольку он не годится для дискуссии, он — не интеллектуальная проблема. Экзистенциализм мы преодолеем только страстным и категорическим выбором другой жизни, другой реальности. Делая выбор в пользу другой реальности, мы сами становимся ею. Вообще в грядущем мире следует распрощаться с методами “объективной” дискуссии, убеждения и аргументации. Мы не развяжем наших гордиевых узлов с помощью интеллекта, мы будем разрубать их собственной жизнью» [3].

Стоило огород городить? Извиняет только то, что это 1956 год. И давно уже не пытаемся развязать узлы с помощью интеллекта, тут бы завязать узелки на память, или — узел проводника на страховочной веревке. Давно уже распрощались и с дискуссиями, убеждениями и аргументациями, да и к чему преодолевать экзистенциализм? Это как на палитре красок избавиться от «сажи газовой», еще одного оттенка — мир только станет ущербнее.

Другой вопрос, что, случайно глядя на случайную же концепцию (это мог быть любой другой штрих в мировой философии), невольно, с удаления во времени пространства, понимаешь, насколько мы удалены-отринуты, отчуждены

от самих себя и сколь не хочется понимать то, что представляет суть нынешнего (нет, не положения, вещей, не положения дел, не просто положения — оно скорее во горб — просто нынешнего, которое временем не то, что эпохой назвать проблематично (*эпохотливость* вернее), но пребывать приходится, несмотря на отвращение, которое подменило историческое отчуждение как суррогат. Излишество самих себя. Излишни себе. Нет, не «лишние люди». Людьюми назвать трудно. Лишние функции.

Персонификация «между», пытающееся утвердиться в нынешнем, но, выражаясь лексиконом схоластов, лишенная *antecedens* и *consequens*, но без *ens*, то есть без предшествующего (предтождественного неотждественного) и последующего, но без сущности — сплошная лишенность, и, поскольку она по Аристотелю источник, «истощник» времени, то — чистая временность, несущественность и преходящесть, но без времени, а прежде его, — не по предвосхищению, а по опаздыванию. Прошлее прошлого. Всеми интенциями, тенденциями, ретенциями, эта ничтожность направлена на сохранение себя, и в этом ее спасение. Ее нетость бесконечно противостоит вечности. Гноище взбесившихся, обдолбанных идеологией индивидов. Повсеместное явление.

«Идея становления, высочайшим напряжением величайших умов инкрустированная в природу общественного бытия (если учесть, что становление по представлениям в истории философии принадлежит субъективному духу, то скорее вбито накрепко и насильно. Как самоидеология. — А. Б.) регулярно вырождается в агрессивную само-пародию, которую в той же мере провоцирует, в какой и смягчает неподатливый к метафизическому модернизму иммунитет обывателя» [4].

Массовому сознанию ближе, пусть даже и раздражающе надоедливое, повторение рекламных роликов, чем вчувствование (через посредство философского текста, поэтической метафоры, симфонического развития) в ангажированный собственной текучестью неоконченный смысл. Потребностью в устойчивом порядке можно бесстыдно манипулировать. Но она от этого не теряет резона, так же тело не теряет жизненной непреложности оттого, что его подвергнут побоям [5]. И дальше: «С определенного момента техника, сделавшая ставку на культуру становления, ведет себя как скульптор, который решил обрабатывать не камень, а способы обработки камня» [6].

Все это очень неточно, но смысл ясен, и дело не в технике, которая есть



следствие, вместе со своей предметностью, технологией, сведения развития к механическому движению, когда каждый механический жест жестом не является, а тяготеет к тому, имитируя и символически оправдывая, но со всей силой механически-физического движения, чтобы заменить человека и использовать, элиминировав как бесконечно малую величину.

То же и с компьютерами, где моделируется отнюдь не мышление, а простая формальная логика в самом неприхотливом, но похотливом механическом виде. Машина имеет человека, обладает им. Но суть не в том, чтобы сетовать и бороться или принимать как данность, а совсем в другом. В том изменении отношений человека и природы, когда свобода становится природой человека и уходит в основание, решается и проблема чувств, о которых нельзя, вернее, некорректно говорить, «как они происходят», или из чего произрастают, — вопрос «каким образом» они происходят и как пребывают в образе. Вопрос не в их воспроизведении, хотя это тоже проблема, а в произведении из ничего, произведении действия, а не действием. Где все чувства, самые противоположные, имеют одну и ту же природу, и, выйдя из единого, в единое уходят. Все различные оттенки — только различные пережитые и оброненные остатки их единого развития, сохранившие память становления. Любовь, ненависть и более сложные, как-то чувство музыки, чувство философии, чувство театральности, живописи, теряют свою определенность, они больше не в основании, скорее основание в них, как самое, что ни на есть («что ни на нет»), становление. А сами представляют пространство человеческого развития, покидая первоначальную предметность свободного времени. Развития, объединяющего и делающего все чувства просто выражением одного и того же, «не-иного»; чувства, уже снизошедшие и вочеловечившиеся в человека, сбываются, свершаются, но никогда не могут обрести наличное бытие.

Не раз уже говорилось, что я мог не родиться, но чувства уже существуют, в межмирных пространствах истории, искусства, жизни, как говаривали в старину: «везде и нигде». Я застаю уже живущими все возможные чувства, даже те, которые в возможности возможности, — которых еще нет. И только повторяя всю предшествующую историю в своем индивидуальном развитии, деятельности, я становлюсь непосредственной практикой этих чувств, не только положительных, — любых, и они становятся мною (при этом они уже не определены как чувства, и я — не я, а чистое действие).

Встречное движение к их абсолютно-относительным формам только на первых порах, временах, эпохах моего становления проходит свой путь навстречу движению тотальному. На самом деле «навстречу» нет. Направление складывается «позади», как пройденный путь, инверсионный след. Интенция — только инерция.

Только в начале (а человек всегда в начале) чувства проходят стадии реакции раздражителя, снимаемые в разрешении противоречия ощущением, восприятием, которые, вступая в противоречие, рожают аффекты, эмоции, — в поисках градаций насочинять можно сколько угодно, суть ясна, — лишь когда чувства непосредственно в своей практике становятся теоретиками, то есть предметом самих себя, они, наконец, встречаются с чувственно практической сущностью самих чувств.

И тогда, нет, «тогда», они теряют временность, последовательность и предметность, отказываются даже от себя, отчуждаясь в единство — но это уже не отчуждение, а возвращение человеческой сущности.

Если это происходит, то чувствами становятся и ощущение, и реакция-раздражитель, и любой аффект или эмоция, являясь в причудливых смесях, которые — не составы, а нечто целое, невозможное по отдельности. Они больше не терпят иерархии, старшинства. Достраиваются идеалом, вопреки определенности в свободном едином Красоты, которое, как движение материи, проступает без меры и заданного ограничения. (Это недоказуемо, но и в античности не доказывалось ничего. Только удивление, граничащее с восхищением. В какой восторг приходит древнегреческая мысль, приписывая Пармениду открытие, что вечерняя звезда и утренняя — эта одна и та же звезда.)

Впрочем, по логике, развитые чувства в своей тотальности младше, чем древние ощущаловки, которые «старее».

То, что происходит сейчас, есть декларируемая искусственная, послевременная старость — старость немедленная, старость «сей-момент». Это не похоже на моду красить юным девушкам волосы под седину — это действительная дряхлость.

Тогда чувства становятся не едиными [7], а равноценными. Любому фрагменту жизни можно придать видимость: так, есть не только любовь, ненависть, но и чувство страха, ужаса, не только чувство поэзии, чувство цвета, света, чувство музыки и т. д., но и мизерные, но огромные чувства меланхолии, слабости,

веры, тоски, лени, чувство дождя, чувство формы, чувство времени, необходимости, пресыщения, жажды, пресыщения жаждой и утоления ее, чувство..., чувство... чувство всего, что бы ни было, но это чувство «было», былого, прошлого, настоящего, рассыпающегося в прах, будущего, которое никогда не придет.

Дело не в том, хорошо ли это, плохо ли, а в том, что эти чувства — как раковые клетки: не умирают, непреходящи, они заимствуют эти свойства у единого чувства, распавшегося на составляющие, в диких смесях, вроде чувства любви, смешиваемого с омерзением, или чувства надежды безнадежной, радостной тоски и невыносимой огромности бытия.

Это уже не оттенки, а самодовлеющие сущности, которые своей тотальностью паразитируют на жизни и парализуют, останавливают сердце и разум, убивая, хотя при этом гибнут сами. Чувства становятся бесчувственными — это уже беда.

То есть, это все едино, но по отдельности нежизнеспособно. Так рука отдельно, сердце отдельно, мозг отдельно не живут, только в едином движении; даже галактика не может существовать без всего остального, без прошлого и последующего. Впрочем, это трюизм. И так ясно, что современная эстетика, если говорить о ней, испытывает интерес только к помраченному свету, оставленному, но не к жизни.

Я некогда писал о стремлении чувств уйти от статики и определенности, привязанности к предмету, о превращении в чистое превращение. Поэзия, музыка, философия и т. п. сливаются в единое чувство и превращаются в сущностные силы человека, снимая в себе и волю к чувствам, и чувства самого чувства, как чувство человека. «Что» чувства, кого? Чувства вочеловечиваются, или человек вочувствуется? Нет, не сентиментальные расчувствования, расчесы, раздражение чувств, но чувства, которые перестают быть предикатом человеческого и чувствуют человеком, как человек чувствами, при этом чувства — не придаток человеческого.

Только теперь это не чувство музыки, чувство поэзии, чувство философии, а чувство философией, чувство музыкой, чувство поэзией, и чувство ничем и всем, чем угодно, а не только воспитанными органами чувств, которые не сводятся к пяти известным, а имеют сколько угодно явлений. Воспитанная, сформированная визуальность, освоившая светонность и цвет — одна из них. Как мы видим? Слышим? В чем смысл деятельного интеллигибельного созерца-

ния? Все, что по этому поводу написано немецкими классиками, не только верно, но и требует не ревизии, реставрации, эксгумации, моделирования, а освоения на практике, превращенной в непосредственное чувствование. Поскольку опосредствующая предметность снята.

И чувства не отчужденны от человека, как и человек от чувств, в единстве не созерцания, а действия-действительности. В каждом чувстве, в любом фрагменте — человек весь, без остатка. Мы слышим музыкой по-человечески, и видим ею, мыслим, равно как и видим живописью и слышим ею, мыслим философией и философия мыслит нами, не просто сформированными чувствами, не остановленными, а живыми, растущими, не потребляя и уничтожая, а внезапно поворотившись к нам, заставляя не только видеть музыкой и слышать живописью, но и жить («Глаз слышит»: Клодель) ими, и философией, и кино, и театром и т. д.

Нет, не заставляя из чувства долга и принуждением, хотя это тоже может иметь место, а не имея места и открывая способ бытия, становясь сущностным отношением, переживанием мира, который создается из ничего, а не из формы форм, не просто потребляется и уничтожается, превращаясь в тебя, как то, что нужно человеку, как снятый пройденный этап.

Помните, как у Кузанского: мир не вечен, но может быть вечность мира. В том числе и смертных (сметных, обусловленных разнарядкой и мизерными потребностями убогого общества) чувств. «Если что-то еще называется вечным, то не потому, что оно само вечность, а потому, что существует благодаря причастности к вечности или от нее: вечность предшествует всему вечному, кроме лишь того вечного, которое одно и то же с вечностью. Вечность мира, поскольку она — вечность мира, тоже раньше вечного мира. От нее мир вечен, как белое бело от белизны. Вечность мира образует вечный — то есть нескончаемый, или постоянный, что и называется вечный, — мир, поскольку она обладает тем, чем является абсолютная вечность. Никогда не было истинным сказать “Вечность есть”, чтобы не было так же истинным сказать “Мир есть”, хотя мир есть то, что он есть, от вечности» [8]. И хотя неубедительно, но впечатляет.

С чувствами так же. Они смертны, но от вечности. Однако когда они попадают в период распада, «в...», и начинают жить по отдельности, не возвышая свободного человека (а возвышенное человека — это его рост, развитие, а не просто длина, действительная высота, когда возвышенное — не от чувства пре-

восходства, унижающее все, что оставлено, а от свободного становления вне масштабов), становясь сущностными силами, а растерзывая, как единственное свободное пространство, в поисках глотка свободы, их породившей. Чувства — от избытка, а не по нужде, они изначально не необходимы.

Тогда они становятся не только агрессивными, но подобными аппарату жизнеобеспечения (какие там сущностные силы, — так, протезы. Чувства теперь в коме и заменены искусственной почкой, поэзия — искусственным легким. Мандельштам писал о Пастернаке, что его стихи хорошо прочищают горло), а философия — не только искусственный интеллект, но и искусственное сердце. Существовать можно, жить — нельзя. А уж о человеческом бытии речи нет. Живешь как овощ на гидропонике, вливании физиологического раствора искусства: внутривенно, как физраствор, или напрямую — через прямую кишку. Правда, можно употреблять смесь искусства как стимулятор, обезболивающее, успокоительное, наркотик, но эти медицинские способы его использования не соответствуют его действительной сущности.

Можно искусственно привить человеку не только чувство отчаяния, но и заставить его любить любую мерзость со всей возможной страстью, скажем, любить страдание и быть профессиональным страдальцем, плакальщиком.

Может быть, поэтому современность, чувствуя интуитивно, пытается ампутировать уже создающиеся и ставшие ненужными, рудиментарными, чувства, и заставить отказаться от чувств вообще, ограничившись ощущениями (или полным отсутствием оных, — искусственная нирвана, — обозначением ленивой реакции на раздражитель, реагированием согласно артикулу или принятым правилам поведения в соответствующей регламентированной ситуации), дескать, лучше «никаких» чувств, чем человеческие, а то еще потребуют отвоения действительной человеческой сущности, — что означает конец всему, поскольку чувства трудно эксплуатировать, они — инобытие свободы, именно поэтому от них невозможно освободиться. К тому же есть заменители, эрзацы и прочая гадость.

Человек, у которого отсутствуют чувства, не знает, что он потерял, не обретая. У тысяч людей отнимают сознание, и это сходит с рук, что там сознание, — отбирают жизнь, подменяя в лучшем случае существованием, а то и просто убивая за чужие убогие интересы. Такова мифология «патриотизма» — разновидность современного идиотизма, всеобщей мантры, позволяю-

щей делать капитал на крови, которая гораздо дешевле нефти. Фронтальная лоботомия теперь не требует особых усилий — достаточно масс-медиа и прочих технологий. Человечество вымрет и не заметит.

Но чувства сами становятся орудием убийства. Хуже всего тем в этом мире, у кого не просто есть чувства, — ими нельзя обладать, их нельзя присвоить, их можно только создать из ничего, — а которые ими живут. Всеми сразу. Чувства убивают человека, как вакуумный взрыв, выжигая воздух свободы, или растерзывают человека по одиночке. Как единственно возможное пространство своего события.

Они не ко времени, и, с точки зрения необходимости, не во время времени, где надо выживать. И порог боли здесь не понижается, а прогрессирует в бесконечность, каковы сами чувства. Им просто нечего, кроме тебя и боли, чувствовать, хотя не помнят себя (так от боли лишаются чувств), — если и ощущение стало чувством, поднявшись к абсолютному. Чувства не знают меры. Они не имеют предела. Потому они безжалостны, у них для этого есть *чувство* жалости.

То же и в трансцендентальной эстетике, которая не должна искать свои закономерности, чтобы несовершенным еще пространством в жажде постижения своей сущности не прикончить себя в зародыше, поскольку время еще не ее. Хотя об этом хочется писать бесконечно, просто так, от избытка и чувств, и бытия... и боли.

Так что я пользуюсь чужими благородными цитатами не как суфлерами, — «раздувателями» в алхимическом раже, — а скорее чтобы образумить, затормозить реакцию, могущую пойти в разгон. Это все равно, что зажигать солнца, но управлять термоядерным процессом — можно прикрутить «фитилек», а можно сделать и поярче. Нет ни языка, ни возможностей, ни оснований, ни чувств — как абсолютная красота уже есть становление, которое никогда не стремится к наличному бытию, чего не понял, вернее, страшился принять Гегель, оно не стремится к воплощению, будучи по существу самим этим стремлением.

Как уже говорилось, в нынешнее время в силу разоренного и разложенного на механические составляющие пространства, всё, и в философии тоже, сводится к исполнительству. Более или менее удачному. Но обычно всё ограничивается перкуссией или игрой на подручных ударных инструментах, например, на ложках (наиболее популярно — «на бутылках»), освоить орган уже труднее, а виртуозно импровизировать — почти невозможно.

Здесь индивидуальность, изначально, — не предмет исследования. Глупо мучить абстракцию. Да и само механическое существование индивидов не вдохновляет на исследование. Все уже сказано. Описывать эти вульгарные позы эпохи — занятие скучное и неинтересное. Массовый идиотизм, захлестнувший мир, можно было бы списать на тотальный фашизм — идеологию мелкого собственника, «взбесившегося хозяйчика», однако, слишком много чести, да никакой чести и нет — разве что человеческое не в чести. И совсем не примечательно, что работа, написанная сразу после победы над фашизмом, после второй мировой войны, звучит удручающе актуально и сегодня: «Все теперешние фашистские движения, включая деятельность американских демагогов, рассчитаны на невежд; они сознательно подают факты таким образом, чтобы найти поддержку только у тех, кто с ними не знаком. В сложном современном обществе (не такое уж оно и сложное. Чем примитивнее и однозначнее, тем страшнее — А. Б.), насыщенном проблемами, незнание ведет к состоянию неуверенности и беспокойства, которое служит для реакционных массовых движений современного типа. Такие движения обычно носят популистский, “народный” и откровенно анти-интеллектуальный характер. Не случайно, что во все времена фашизм не смог разработать связной социальной теории, а к теоретическому мышлению и знанию относился с презрением, как к свидетельству “утраты корней”. Такое незнание, обнаруженное в наших интервью, представляется особенно зловещим в группах с относительно высоким уровнем образования, независимо от того, имеют ли они высокие или низкие показатели по шкалам. С одной стороны, техническое образование и стремление к “реалистической заботе о себе”, а с другой — упорное нежелание осмыслить действительность, становятся тем климатом, в котором расцветают фашистские движения. Там, где преобладает подобное мировоззрение, в кризисных ситуациях особенно легко усваиваются идеологические формулы, недавно еще свойственные экстремизму» [9]. Работа откровенно слабая, в отличие от других работ автора. Видно, что растерялся, посмотрев на США изнутри и ужаснувшись.

Ханна Аренд права, фашизм многолик, но «банальность зла» — его отличительная черта. Он пошл и обыден, и «прозрачность зла» (Бодрийяр) делает его не только очевидным, но и невидимым. Но все это — только клиническая картина, уже не сыпь, а трупные пятна: смерть уже наступила.

Фашизм приобрел глобальный характер, но без тотальности, то есть

целостности. С одной стороны — разделяй и властвуй, с другой — необходимо сбить эту дурную множественность в толпу.

Унифицированность индивидов, их одномерность и стандартность, присущая миру капитала, закономерна и обыденна, собрана в спрессованную, скупенную толпу внешней необходимостью. Даже уникальность в одномерном обществе назначается. Ею награждаются.

Индивидуализму, столь однозначному, непреложному и обязательному для эпохи стоимости, свойственно принудительное стремление к легко достижимой *уникальности*, которая неизбежно приходит *к* и исходит *из* унифицированности, где человек исчезает как бесконечно малая величина, становясь придатком вещи или предикатом орудия. Он — не функция, он — при функции. Акцидентальность как надежда и опора, второй свежести счастье «быть востребованным».

Это вынесение, вымораживание за пределы процесса дает видимость освобождения в виде брошенности за ненадобностью. Невостребованность зачатую классифицируется как величайшее несчастье. Зато невостребованный человек — отличный материал для приукрашивания в силу бесполезности. А бесполезность — это сила современности, это не Беконовское «знание — сила», это дремучесть, многократно умноженная на стоимость, что-то вроде самого дорогого металла в мире — «Калифорния» — который потому так дорог, что редок и пока ни на что не годен. В отличие от металла, в таком виде человек вполне может быть использован не по назначению, например, в виде удобрения, — были прецеденты. Его слишком много, он дешев, и даже в своей унифицированности универсален и годен ко всему.

Отсюда — миф о свободе духа. Он не только не имеет самостоятельного развития, но уже давно превратился в меркантильный конгломерат, где наперебой предлагают свои услуги.

Художники считают продажность в порядке вещей. А это действительно новый порядок вещей, — работать на заказ, — даже если они абсолютно избретательны, и, вроде, не связаны никакими рамками. Рейтинги определяются искусственно создаваемым спросом и ценами на аукционах. Но и те, кто поневоле вынуждены заниматься философией, или, того страшнее, поэзией, по преимуществу пытаются угадать настроение самого серого среднего класса. Выбор доктрины — дело вкуса, причем самого дурного. Так что философская и философствующая попса преобладает.



Не скажу, что это достояние современности, куда ни глянь в истории — то же самое. Серой массе противостоит пара-тройка имен, по которым определяется величие эпохи, хотя все понимают, что эти пара-тройка — такая же серость, вернее, квинтэссенция серости и усредненности, как и остальная масса, воплотившаяся и персонифицировавшаяся в единицах. Никакой исключительности.

Для одних это служит оправданием, когда можно вздохнуть с облегчением, для других — поводом к бесконечному стыду, который может и превращается в стыд стыдящийся.

Так наличие совести без поступка достаточно для самоуспокоения и бывает поводом наслаждения и самолюбования.

Тем более, что при всех прочих нюансах, при подведении итогов своих кровных достижений, совсем не внезапно обнаруживаешь, что не так уж много оригинального и свежего находишь в собственных опусах, и с возрастом скатываешься в спасительную иронию иронии, последовательно, в скептицизм, который вовсе не такая уж «геенна огненная», как полагал Флоренский в работе «Столп и утверждение Истины», а может быть теплым и уютным; в сентиментальный слезливый цинизм («цинизм», дескать, всяк имеет свою цену), когда спасительно цепляешься за тезис, что «время не талантливо» (вздыхнув с облегчением, что ничего не надо больше делать, только забывать, и с ужасом понимаешь, что ничего забыть не можешь. Ни забыть, ни вспомнить), тем самым избавляясь и от времени, и от необходимости анализировать: так ли это или просто с возрастными изменениями началось закисание мозгов, сенильная деменция, и ты свой личный прогрессирующий маразм распространяешь на некую абстрактную одностороннюю, однообразную серую всеобщность, единообразную всеобщность, потому что это перекрашивает в твоём видении не только людей, но и совсем невинные процессы природы. Зато легко затеряться.

Чертова прова хоронящих и разъедающих сведений, фактов, книг, произведений, мнений, людей, зверей, гадов, фактов, начинают выдавать свою убогость и нищенствовать, потребляя и растаскивая твоё время жизни, пожирая тебя, и ты бессмысленно их перебираешь, закапываясь глубже и глубже, на самом деле прячась в действии, пусть пустом и необратимом, не для познания, а ради избегания встречи с собой в полном сознании. Однако для того, чтобы не задохнуться, единственное, что ты можешь создавать — это собственную объективную, реальную кажимость-действительность, как основание хотя

бы возможности быть собой, размазываясь в дление, как тление существования.

Хотя оказывается, что ты себе не принадлежишь, и, создавая кажимость, теряешь видимость, а видя, уже не кажешься, теряясь где то в примитивных психологических вывертах и оттенках.

Пытаясь сохранить единство самосознания, попросту теряешь многообразное однообразие мира и сам мир, а предпочитая развитие субъективного духа в объективный, напрочь теряешь основания быть человеком, — только исчезающим в бесконечности и вечности вселенной, столь же бесконечным и вечным фрагментом всеобщего становления — бывая, не убывая.

Востребованность в философии принуждает к составлению справочников по давно известному. Не важно, принимаются ли заказы от классов, партий или, как утверждала М. Цветаева, непосредственно как социальный заказ эпохи, или из чувства долга перед временем — все равно это работа на потребителя, который всегда прав, хотя вкус его и капризен, но не изыскан, притязателен, но — прихоть. Хоть, «хїть». Пошлость на уровне рефлекса, и то условного.

Потаенная жизнь философии, которая не видна, живет иной жизнью; то, что не ведомо, не может быть желаемо, а то, что желаемо, может быть создано из ничего, из ничто, которое само требует осуществления из хаоса.

Здесь еще нет ни необходимости, ни свободы, ни случайности. Только предчувствие простора. Нет ничего более беспристрастного, чем страсть. Не оголтелость, а чистая беспричинность, непричиненность и не-при-частность в целостности стремления, как иноформы овнешненного становления.

Да, конечно, нельзя стать выше своего времени, — банальное, расхожее мнение, — но быть вне времени и пространства, до их предметных форм, не только возможно, но и необходимо, хотя и недостаточно. При этом становиться, безотносительно, то есть «вне», означает и «во», то есть везде и нигде: здесь-сейчас.

Только становиться, поскольку, чтобы развиваться, становление должно породить, пусть иное, но время и пространство, в которых будет происходить, и обрести внешнее свободное время, как пространство человеческого развития. Но не развития вообще.

Свобода должна наталкиваться насмерть на смерть, умирая в должествовании, наталкиваться на страшную невозможность свободно уйти в основание. Она делает это, и все же осмеливается покидать основание, смеет быть вопреки,

превратившись в человеческую природу, хотя естественней было бы уйти в основание, сбывшись в исчезновении.

Это страшно, хотя бы потому, что свобода престаёт быть собой. Это невыносимо, поэтому свобода медлит, прощаясь. Она искусственно замедляется, превращаясь в мемориальный памятник самой себе, пытаясь остаться, и потому она, требуя крови, скучно невыносима. Катафатичность свободы репрессивна. В этом — первоначальная случайная свобода, смысл которой в покидании и сожалении о содеянном. В этом — любовь к прошлому и память. Быть в этом и ни в чем ином, — не надо иного, — и все же остается необходимость умереть, причем понапрасну.

Человеку некуда себя деть, он ни при чем, ни для чего, он никому не нужен. Он тешит себя «страшилками» никчемного существования до тех пор, пока не осознает себя апофатически, случайно свободным в отрицании, буквально «похитив себя» у сущего, расположившись над всеми выходами, за всеми пределами «выси», как у Платона. (Все высказанное об апофатике и апофатически всей историй человеческой мысли оказывается верным. Причем оказывается причинами катафатическими, вернее, единственной причиной, чтобы быть, побуждающей к бытию, рождая смысл в бессмысленности, впрочем, не знающей, как от него избавиться, и не тяготится ни им, ни идеалом, ни собой.)

Впадая в свободное время, человек избавляется от времени и временности вообще.

Безразличная среда вечности (которая, будучи ограничена «по составу», принимает форму и вид свободного времени) хоронит (охраняет, прячет) человека, пока он не осознает, освоит, превратится в свою бессмертную деятельную сущность, ту активность, то универсальное беспокойство, где разрешается формальное противоречие жизни и бытия, сущности и существования, пространства и времени, формы и содержания, оставляя это как проблемы прошлого, покинутого, тянущегося следом ложной памятью и ностальгией по небывавшему, и только потому, что ни один оттенок не может быть утрачен без того, чтобы тотальность не стала ущербной.

Этот изъян тут же порождает время самой временности, время времени, которое не длится, коль скоро оно всецело свободно, но не теряет протяженность в своей мгновенности.

Времена не параллельны — сплошны единством перерыва постепенности,

которым сходятся, но не в точке схождения «Я», а снятия предела, поглощенного синтезом необходимости случайности и свободы в их самоутрате без остатка, который и есть определенность и дифференцированное самостояние этой триады.

Однако откуда возьмется это «вдруг», это иное сознание, и что побуждает активность и энтелехию его самодвижения? Как возможен «автодозон» («саможизнь»)? Откуда оно (движение? сознание? «я»?) может сознательно прийти к сущности свободного времени, если оно — продукт прибавочного и рабочего времени.

Отчасти из живого труда, снимающего в себе сущность движения материи вообще и формальную сторону движения отчасти, — но тотально. Это не тотальная частичность, а неутоленная тотальность.

Основанием этого порыва и иного отношения к действительности становится то, что еще не существует, то есть бытие-возможность, которая есть и не есть в один и тот же момент. Разрыв происходит при переходе в иную ипостась, эманурует, когда все, что окружает, проникает, переполняет, пронизывает, становится прежним, прошлым, существование переполняется бытием. Единое становится старше, оставаясь настоящим, не приходящим, хотя оно не может быть результатом и причиной становления, оно им живет.

И вот, совершенно восхитительны по этому поводу рассуждения Диалога Дамасского. Я бы просто привел в качестве приложения его знаменитый комментарий к «Пармениду», однако сам ошеломленно прикладываюсь к нему. Не в последнюю очередь, но не только, эмигрируя в историю философии. В современности нечего делать. Ощущение опоздания за самим собой навеки, чувство тоски и унижения. И это не просто унижение, это нарастающее падение, к которому ты не причастен, не свободный полет в бездну, а вульгарное падение вместе с кучей современного дерьма. Так было всегда, но от этого не легче. И мелочность целей современного человечества, упустившего свой шанс — очевидна, и не представляет проблемы. История философии, равно как и вся история культуры, хотя бы дает надежду, что на месте этой выгребной ямы может что-то остаться. В конце концов, времена Дамаския или Парменида тоже были гнусными.

Все же не удержусь и напомним: «Дамаский задается вопросом: Как следует понимать предикаты “моложе”, “старше” и “равно по возрасту” при соотношении единого с самим собой и другим?»

Краткий конспект ответа: «Во-первых, следует дать определение, что предикаты “моложе” и “старше” соответствуют прошлому и будущему, а “равно по возрасту” — настоящему. (То есть патриархальная «седая древность» — младше, чем старое будущее. — А. Б.) Действительно, равенство в каком-то смысле аналогично покою. (Хотя именно настоящее есть абсолютное беспокойство, без которого нет ни прошлого, — его уже нет, — ни будущего, — его еще нет. Более того, прошлое предстоит. Как не вспомнить Августина с его одиннадцатой книгой исповеди. — А. Б.) Во-вторых, предикат “моложе” можно соотносить с прошлым, а “старее” — с будущим и наоборот. В-третьих, давайте подчеркнем, что настоящее время, в котором существует каждая отдельная вещь, стоит на первом месте, на втором располагается будущее, поскольку оно открывает вещам путь к бытию и предусматривает их наличие в возможности, а на последнем находится прошлое, поскольку настоящее для него уже прошло, и оно представляет собой «лишенность» бытия».

Далее. «В-четвертых, нужно отметить вот какой момент. Когда единому приписывается предикат “моложе”, это значит, что оно обновляет и выводит к свету самое себя и другое, а когда ему приписывают предикат “старше”, — скрывает и помрачает самое себя и другое. В-пятых, единое моложе самого себя как объединенная сущность (ибо объединенное предшествует выходящему за свои пределы), старше самого себя в качестве сущности, совершившей выход за свои пределы и разделенной, а равно себе по возрасту, как сущность, которой свойственны оба названных состояния. Наконец, в-шестых, как утверждает Парменид, единое должно существовать прежде другого, ибо собственные признаки становления и времени сперва проявляются в его сфере, а уже затем в сфере другого. Поэтому другое должно быть моложе, а единое старше» [10].

Суть в том, что становление и есть единое, оказывающееся «равным себе по возрасту», как порождающее и порождающееся, и не может быть ни старше, ни моложе себя. Таким образом, время порождается лишенностью, а становление — до времени, поскольку до бытия. Вообще-то, все гораздо тоньше, но достаточно и этого. (Сейчас мы наблюдаем помрачение становления, опаздывание хотя бы к себеравности, вроде педагогически запущенных детей. Отстаем от развития, которое не только могло бы быть, но и соответствует сущности настоящего. Вместо этого — умственная отсталость, хотя это мягко сказано.)

Нельзя сказать «единое становление», возможное становление — это тавтология. Но в реальных процессах — можно. Иначе косноязычной речью невыразимое не высказать, — только нарушая непрошибаемую логику (кстати, тоже опаздывающую по сравнению с жизнью) языка, чтобы в изломах молчания на мгновение показалась суть. Незримое не показывается и не является без того, чтобы не перестать быть собой, а стать явленным и очевидным. Но косвенно его можно обнаружить, как несокрытое, хотя бы по зримому. Раз оно видится, значит, может и скрываться.

Это значит, что в самой общественной форме движения назрели силы для усвоения. Хотя бы протосвободы, которая, конечно же, на себя не похожа.

Движение к универсальности в нисходящей ветви ударяется в слепой психологизм, описывающий состояния, явления, создающий типологии. При том, это не *Universitas* — то есть целокупность, отличающая себя от *Totalitas* (тотальности, цельности), а *Universalitas* — всеобщность, где «единичное и общее за раз» (*Unum versus alia* — универсалия по выражению Флоренского, при чем не одновременно или последовательно, а вневерменно, или, в его модификации, со-временно, авременно).

То есть универсализация ведет к узкоспециализированной типологии, но в своем восходящем моменте, к иной форме одновременности, впадающей в единое, а не параллельное, пучком, фашиной, связанное время, и здесь восходит к единственности. Не через собственность, присвоение, а через самозабвение, отрешение, отказ.

Движение без карикатуры на развитие, без подражания, неподражаемое, бесподобное.

Свободное время невозможно потребить, присвоить, убить. То, что это желается и делается, превращает свободное время из возможности в невозможность, потому так сладостно убиение времени и лень, — я оправдываю свое неразвитие, и даже небытие, и убиваю невозможность, которая зовет к сопротивлению, восстанию и трудному одолению. Моя жизнь, что хочу, то и делаю. Вот это привлекательное «что хочу» и обманывает высоким обманом.

Свобода не может не противоречить самой себе, как того хотел Кант. Желание начинать или хотя бы допустить начинание некоторого ряда состояний позволяет исключать безусловную причинность, допуская, что смена состояний существовала всегда, и нет нужды искать первое начало.

В третьей антиномии чистого разума Кант великолепно увернулся от сущности дела, виртуозно сняв вопрос о свободе. Но этот вопрос ставится сам собой в логике дела. Проблема возникает вновь, когда происходит превращение не только природы в становление свободы, но и свободы, становящейся природой человека. Свобода становится природой, не переставая быть свободой. Становление природой и бытие свободой становятся развитием самого развития. Тогда все антиномии чистого разума, и о начале, и о бесконечности, и о времени и пространстве, и об абсолютно необходимой сущности, встают не в интеллигибельном созерцании, а в самом способе дела, снимающего в себе созерцание, чувство и восприятие.

Можно, конечно, решить этот вопрос по-спинозистски, представив, что процессы опредмечивания и распредмечивания пространства и времени, природы и свободы, бесконечности и вечности не разведены во времени, что это единый процесс, поэтому противоречат душа и дух, возникающий и умирающий каждый момент. В этом — биение развития.

Поэтому, когда свобода уходит в основание, она перестает быть собой и становится пространством человеческого развития, теряя временность, которая становится «всегда». А чувства из предчувствия минуют со-чувствие чувствам и превращаются в одно единое чувство самого чувства, которое чувствует себя и человека, чувствует человеком. Это не nihil negativum — отрицательное ничто, пустой предмет без понятия, а отрицание отрицания, который поглощает и снимает в чистом движении предметность. В этом отрицании понятия действительно нет, не потому, что наступает эвтаназия чистого разума (как сказано в примечании, «Кант имеет в виду спокойную смерть чистого разума и философии, когда разум целиком отдается скептической безнадежности и, пребывая в этом состоянии, считает, что нет никакого философского познания и что все несомненно вызывает сомнения», — здесь верно и обратное, что именно из сомнения вытекает способность познаваемости мира, а эта бесконечная активность вполне может мечтать об эвтаназии), а потому, что там, где категории действуют как формулы и образы дела, в понятиях нет нужды. Свобода больше не вынуждена быть, она есть и не есть в один и тот же момент. Она уже не противоречит Wilkur (обычно неточно переводится как «произвол». По Канту точный смысл — свободное поведение всех без исключения существ, независимость воли. Этим понятием обозначается практическая свобода, в отличие от свободы

трансцендентальной. Практическая свобода имеет чувственную природу, но у человека она разумно определена действием, как и действие свободой).

Здесь, если свобода случайна, она может впасть в произвол, играясь в гениальность. На самом деле, вопрос о гениальности может быть интересен только бездарям, которые нуждаются в индальгенции. В действительном становлении совершенно безразлично, как ты выглядишь и не является ли бесконечной глупостью то, что ты делаешь. Даже свобода воли — не проблема.

«Прежде всего, здесь присутствует миф о гении — миф поистине неисчерпаемый. (Собственно, в серьезном исследовании вопрос о гениальности — глупый и не обсуждается, не в этом интерес — А. Б.) Классики некогда заявляли, что гений — это терпение. (А как быть с нетерпением сердца? — А. Б.) Сегодня же гениальность состоит в том, чтобы опередить время, написать в восемь лет то, что по норме пишется в двадцать пять. Это количественный вопрос времени — надо просто развиваться немного быстрее других. Поэтому привилегированной областью гения оказывается детство. (Так что эпоха наша напрочь гениальна — А. Б.) Во времена Паскаля его рассматривали как потерянное время — задача была в том, чтобы быстрее из него вырасти. (Какова скорость вырастания? — А. Б.) Начиная с романтической эпохи нужно, наоборот, как можно дольше в нем оставаться. Любой поступок взрослого, который можно объяснить детскостью (пусть даже запоздалой), становится причастным к этому вневременному состоянию и предстает обаятельным, так как совершен раньше времени» [11].

Что сказать о возрасте времени?

«Но, объявляя детство чудом, в то же время утверждают, что это чудо состоит просто в преждевременном развитии взрослых способностей» [12]. И ходит под себя. Ему пытаются менять памперсы современных текстов. Но больше сил уходит на их рекламу. Подгузники подходят для новорожденных, но для реборнов — увь. Возврат к истокам невозможен, да и необходимости в нем нет. Только прихоть, да и то вялая, когда «хоть как» «хоть похоть» познания, понимания неизвестно чего. Для оправдания происходящего достаточно комментирующей вторичной философии. Вторична, так как объясняет, что все уже есть, не может быть, чтобы не было. И что бы там ни было, следует объяснить отсутствие философии хотя бы комментарием к пустоте. Заключение о смерти выдано по форме.

Надо бы оставить обязательства перед смертью. Перед ней отчитываются,



что все было не напрасно. Перед смертью клянутся, будто проклинаят: все было не зря. Ею клянутся, что прожил по истине, хотя заведомо знают, что только имитировали жизнь. Но нет самого «было». Нет «прежде» и «сейчас», а о «потом» и говорить не приходится, вернее, приходится по принуждению.

Ввиду невозможности «свершения всех времен», это делает необязательным дальнейшее. Освобождает от обязанности бытия до смерти. Философия застрахована на «всякий» случай. Чужая автобиография. Авто(со)матическое письмо. Современники никогда не простят того, что они современники. Да и какие они со-временники? Временники, в лучшем случае — одновременники, свернутые, скукоженные в сиюминутности, без мгновения. Тягостно длящиеся, тащащиеся в дурную бесконечность дурной бесконечностью. Ни себе, ни времени. Мстят злословием. Возникает некий всемирный упрощенный даосизм. Дао де Цзин: «Знающий не говорит, говорящий не знает».

В истории наворочено столько, что она остановилась от собственной тяжести, стала неподъемной, бесформенно просела, обрюзгла. Теперь истина не открывается, а сочиняется так, как удобно для достижения ближайших целей, или складывается, нагромождается из каталогизированных фрагментов и случайных ненужных вещей, которыми прикидываются и произведения искусства, и отдельные мысли или кондитерские слова. Проблема выбора, в сущности, не стоит. Она валяется. Что бы не выбрал — все только определяет твою позицию на сей момент и с легкостью опровергается. От позиции с удовольствием открещиваются.

Да и выбор невелик. Всегда выбирают одно и то же. Мало того, что Истина — процесс, и, как водится, относительна. Относительна она уже не «по-прежнему», по отношению к вчерашнему, соотносясь с прошлым, которое можно покинуть, или оно покинет тебя, можно остаться, и это рядоположное прошлое будет со-временным. Относительность истины — по отношению с самой собой, с настоящей истинной истиной. В ложном мире истина, для того, чтобы быть собой, должна быть ложной, чужой по сути. Лишь ускользая или исчезая, она обнаруживает себя. Нет ничего более невидимого, чем очевидное.

Все, что возможно, уже действительно и не имеет смысла. Мысль имеет действительность, как идеатум, и следует ему, как заведомо ложной микроидеологии, которой руководствуются и обманываются. Все уже написано. Все опасное очевидно. И, по сути, не устаревает в истории, но вполне пригодно для

употребления и возведения плотных укреплений из слежавшихся текстов, превращенных в кевларовую броню.

Когда я говорил о преодолении личности, то есть собственного я, ограниченного бесконечным пределом, то невольно вспоминал о «преодолении “Другого”» Бахтина. Потому что борьба с самим собой, если нет свободного пространства, превращается в маниакальное разрушение.

Преодоление и снятие личины, хари, это не пресловутый распад личности, а снятие пределов, когда и ты — не предел, и твоя сосредоточенность уже не обусловлена временем, даже свободным. Все открыто. Однако провинциальная алетейя Хайдеггера, псевдо-крестьянская, но истинно бюргерская, «нескрытое», далеко не очевидна и уж во *всяком случае* не откровенна. Всякий *случай* не обладает всеобщностью, он всеупотребим, а не уникален.

Провозглашаемое откровение, о чем упоминалось, — это не открытость развития тебе единственному, это твоя единственная открытость бесконечности и красоте, которая может и отвергнуть, и не принять. Вот это состояние катастрофы и свойственно нынешнему «понятно чему». Глупая ясность. В том числе и самодовольная, эксгибиционистски беспардонная, назойливая явление современного искусства, борющегося за рынки сбыта с оргиастическим ражем торговков протухшей рыбой.

Иллюзии, кажимость, и то, что невозможно в науке, вся практика искусства, которая тоже критерий истины, направлена не на создание, сознательное формирование человеческих чувств, а на развращение их еще до рождения, поскольку чувства существуют независимо от моего сознания и ощущения, и даже от того, жив ли я, они постигаются и становятся моими, воплощаясь как мои и всеобщие сущностные силы.

Современное искусство попросту трусливо и подло предает человеческие чувства, намереваясь, пытаясь быть мерой, примериваясь, прислуживая собственно вещи, произведенной на продажу.

Есть декларированный холуйский патентованный нонконформизм, засаленный и измеряющий свою художественную ценность в твердой валюте. То есть задача и цель — даже не иллюзия человеческого, а создание иллюзии искусства.

Бороться против современности, за современность или за своевременность с одновременностью — одинаково глупо и безнадежно. Зато соблазн погрузиться в ослепляющую тьму чистой красоты, хоть и остается соблазном, и даже

предательством интересов жизни, но не тяготит своей чудовищностью. История предстает и предает во всем немислимом и безымянном блеске, поскольку авторство стирается, а фамилии сдуваются, как пыль. Эта грандиозная анонимность, где все надуманное и выстраданное величие, присваивающее музыку, поэзию, философию, теряет и эту определенность. Взамен абсолютного понимания всего получаешь великое молчание. Безъязыкость или желание писать становятся просто жестом, причем безразличным, потому, что все равно, «что и как». Занятие господствующей позиции, чтобы что-то высказать, наталкивается на то, что в сущности можно ничего и не высказывать, или высказывать прямо противоположное. Это отчасти исходит из самой, — не буду утверждать, что природы, — но из состояния языка в его отношении к речи и его запаздывания по отношению к действительности. Поскольку они претендуют на самостоятельность развития, но, в тот же момент, самостоятельными не являются, то и мышление, и речь не столько противоречивы, сколько антиномичны в себе и для себя. Так что любой тезис вполне по-кантовски доказывается, так же, как и антитезис. Безразлично, что утверждать.

Здесь нет свободы — только воление, волнение, как на море, — и того мельче, — соизволение с произволением, когда потакаешь собственным слабостям и занимаешься апологией. Игра? Ну, вроде того. (Как сейчас говорят, типа того.) Только правила изменяются ежемгновенно и произвольно. Отсюда такая тяга к бесконечным повторам в разных оттенках одного и того же. И не «пятьдесят оттенков серого», а бесчисленное множество, однако множество, заведомо ограниченное.

Очень показательны в этом ракурсе экзерсисы и фиоритуры, срывающиеся на фальцет, который, чтобы как-то оправдать, почтительно называют «йодлем Жижека». Он пускает петуха, и это не галльский петух, когда вещается о революции, а уголовный. Беспроигрышный вариант. Он щупал нечто, что будет пользоваться спросом, отвечать потребностям опустошенного времени, которое все равно, чем заполнять, и выполняет свою функцию уже почти бездумно.

В конце концов, все на совести потребителя. И впрямь, если писать честно и не фальшиво, то будешь описывать фальшивый мир и промахнешься, для того, чтобы писать чисто, надо фальшивить соразмерно с действительностью, что уже подчеркивалось. Однако для одного это оправдание собственной бездарности, а для другого (где он, этот другой?) — только повод, мерило борьбы и освобождения.

дения от иллюзий, хотя объективно хотелось бы заблудиться, и если не наваять, то воспользоваться «сном золотым», временной передышкой, чтобы успеть адаптироваться и не примириться — принять во внимание то, что не хочется.

Хорошо, если находишься в блаженном детском заблуждении, что все пройдет, и это тоже пройдет, надо перетерпеть, и наступят другие времена. Все будет хорошо... или не очень. А если совершенно точно знаешь, благодаря истории философии, к чему все идет? И во все глаза обреченно наблюдаешь эту неумолимую, — ладно бы, стихию, — отвратительную механическую, лязгающую будущность, когда выхода нет, и способа защититься не существует. И впереди сотни лет грязи и пошлости? Что тогда?

Писать книги ни о чем, с точки зрения современников как сокамерников? Тискать статейки об эстетике, которой кранты?

Предположим, я могу уйти в область желаемого и писать до смерти (на десяток книг хватит) рассуждения на тему отношения старой эстетики, нашедшей свой конец, обретшей предел, почившей в идее «формы форм» к «новой эстетике», решившей проблему трансцендентного и трансцендентального и узревшей свое предназначение в том, чтобы не только изучать превращения без трансформаций, бывание чувств в пространстве и во времени, чтобы самой, совлекши имя, стать живым превращением и становлением. Толку с того?

Если принять к сведению, что эстетика никогда не может быть ставшей, раз и навсегда постулированной и схематизированной, что происхождение ее напрямую зависит, вернее не зависит, а случается свободно необходимо? Это преждевременно, и не дай бог будет понято адекватно. Так что все сказанное остается в преждевременности намеком, что есть иная, соответствующая всеобщему развитию, которое потеряно, жизнь, где интенции и ретенции, склонности и пристрастия играют незначительную роль, а суть единого и внутримирового бесконечна, даже если Земле суждено погибнуть от рук недоумков, что, по видимому, и произойдет, если не изменятся существующие отношения.

Тут ведь дело в самом способе дела, поэтому и «новая», не случившаяся еще, и старая, исчерпавшая свои возможности, эстетики, в сущности, едины, и есть лишь различные периоды развития одного и того же.

Прежняя эстетика великолепно знала, что форма не статична и что она — процесс и отношение, она аморфна и обретает себя в движении и никак иначе. «Потом», «после», «позже», «погода» это станет ясно.

Сколько не взывай к развитию, его не будет, равно как и становления. Что делать сейчас, когда действительность на века и навеки не интересна? Можно до конца дней утешаться сравнительным анализом «Комментария к “Пармениду” Платона» Прокла и изысками Дамаския с аналогичным названием — хватит надолго не одному поколению. Можно эмигрировать в историю духа, почившего в бозе, вернее, врезавшего дуба. Описывать с маниакальной тупостью простейшее, окучивая какой-нибудь «феномен» действительности, артефакт времени, или заполнять клеточки в периодических системах, видя то, чего нет в помине? Занятие, чтобы скоротать время до смерти? Или «изучать» реальность, поскольку другого не дано, отличая ее от действительности. Это при том, что действительность может быть не реальна, а реальность ограничивается отношением к действительности, к которой ты относиться не хочешь, не можешь, и не относишься.

Но если действительность и убогая предметность неинтересны? Тогда надо сообщить и сочинить этот интерес, изобразить деланную увлеченность, заинтересовать, наконец, соблазнить, впарить. Это сделать не так сложно. Но если не хочется? Если писать и хотя бы теоретически создавать из ничего другой мир, который даже не альтернативен этому? Можно, но никто не почувствует и не поймет, о чем это. А мне и так в своей ясности образа, данного целиком и живущего своей жизнью, не хочется сообщать его в тексте в никуда. Достаточно того, что он есть и не есть в оном и том же отношении, и торговать им я не собираюсь. Напротив, готов защищать от посягательств, хотя он никому не нужен и моей собственностью не является.

Помнится, С. С. Аверинцев горестно сетовал, когда издавал «Игру в бисер» Гессе: ему жаль было отпускать книгу на потребу всем, хотя он отлично понимал, что она сама сумеет защититься, и что многим она стала путеводной, и не чувство собственности его беспокоило, а некая печаль и ощущение утраты без причины. Хотя ясно, что так, как Аверинцев, никто ее прочесть не сможет, и книга ничего не теряет, поскольку читать ее могут уже подготовленные в чувствах люди. Тем не менее.

Сказать или не сказать? Отдать идею или нет? То же испытывает каждый — не боязнь, что украдут, она все рано не моя, а боязнь, что испохабят (а где гарантия, что я ее не испохабил, не исказил, не замутил? Такой уверенности нет).

Конечно, в истории философии устаревших произведений нет. Хотя, если

очнуться от обморока и наркотического опьянения от чтения и пристально посмотреть на то, чем восхищаются (персонаж не имеет значения), то, в сущности, понимаешь, что все это — мистика последующих напластований, которыми приписывают некоей форме самостоятельное и непреходящее значение. Читаемое и разбираемое произведение само является результатом всей последующей, всепоследующей, всецелой истории, движение которой стремится от совершенности к незавершенности, в свернутом виде.

Вроде бы ищем в истории не напрасность, но, в конце концов, усваиваем именно напрасность и преходящесть. В сущности, приходишь к одному: возникновение и уничтожение — суть одно и то же. Мгновенность человеческой жизни заставляет схватывать именно единственность, и выстраивать, как можно быстрее, множество одновременностей, а это эклектика и попытка возродить хаос, который представляется боле жизненным, чем диктат мертвых форм. Они кажутся непроницаемыми, но, на самом деле, проницаемы во всех направлениях. Современная монадология. В рамках необходимого и достаточного можно употребить любую философему. Получишь ближайший результат, когда учитываются только ближайшие приблизительные причины, удовлетворяющие прихоти. Это шевеление на уровне физиологии. Синдром хронического опоздания. Но странного.

Обогнав время, ты опаздываешь навеки. Никакой мании величия здесь нет: когда обгоняешь время, ты заставляешь его катиться вспять и вниз, не к истокам. Это вульгарное падение. И оно намного легче, чем пусть воображаемое, но устремление, восхищение в вечность. Хотя в бесконечности верха и низа нет, и вполне можно падать ввысь. Это опускание. Нисходящий поток времени заставляет опасно опаздывать навсегда, потому, что ничто не происходит, а просто разлагается, распадается и плохо пахнет. Ложные истины забывают пространство. Понимаешь, что слишком поздно, и «завтра» не наступит, и отнестись к этому с юмором трудно. «Сумерки обещали вечер. Вечер обещал ночь. И только утро не обещало ничего» (Жванецкий), что-то в этом роде, или «В этой стране, кто много говорит — не понимает ничего, кто молчит и грустно улыбается, уже о чем-то догадывается, а те, кто молча обнимутся, смахнут мужскую слезу и разойдутся — знают все».

Вот это всезнайство вдруг наталкивается на классическое «ничего не знаю», когда, разгребая свалку истории и копаясь в культурных слоях, натал-

квиваешься, наконец, на чистое ничто, и даже не знаешь, какое оно, и потому выстраиваешь собственный мир, борясь со своим представлением и волей. Почему-то думаешь, что это аналог абсолютной красоты, которая по предположению бескачественная, никакая. Но ты еще не готов, и природа твоя еще заражена преисторическим (привычным плохой дидактикой застигнутого идеологического хлама и заведомо испорченного восприятия, наложенного на дурновкусие или отсутствие вкуса как такового) развитием в форме стоимости, которая вместе с частной собственностью выжили из ума и прививают тебе слабое, как правило хорошего тона, и свободное время тебе неведомо, не потому, что его нет, а потому, что ты подозреваешь не о нем, и даже не догадываешься, что действовать свободно ты не умеешь (и действие это — не по необходимости, и случайным оно не может быть, но бывает) — это не дело одиночек, а само это действие представляется самоубийственным, потому, что предполагает утрату: и ненавистной, но такой привычной и понятной, уютной свалки, и самого себя (и в себе, и окрест), и формы своего я, и таких обжитых ощущений.

Поэтому все восстает против красоты, и ты ищешь причину, чтобы укрыться от этой преобразующей и переосуществляющей силы, которая сперва предстает как внешняя необходимость, в каждый момент иная, перестающая быть собой, но потом бросает во внутреннее противоречие и грозит не просто преобразовать и надеть новым образом, а попросту вовлечь в бескрайнее становление, в этот поток развертывания развития, развития развития.

Тогда шарахаешься в привычную тень прекрасного и в «стеня» вещей и соразмерных тебе форм, малодушно запираешься в замкнутом пространстве собственной ограниченности, причитая, что не надо иного, и так хорошо, и, тупо рассматривая коллекции отрывочных знаний и ставших отношений, перебираешь привычные ощущения, оттенки и мумифицированные мощи человеческих чувств, о которых ты читал, а теперь они тебе кажутся надуманными, изобретенными и выдуманскими.

Да, самое интересное — рассматривать, как знания, исторические формы: незыблемые формальные истины, привычный мир распадаются, крошатся, сталкиваются в невысказанных сочетаниях и отношениях, и за этой мутью проглядывает ослепительное ничто вечного движения. И чистое становление приоткрывает абсолютную невозможную возможность, когда оправдана каждая утрата, и никак не утратить ничего, даже ее саму.

Может быть, это свойство определенных времен, не временящих, а тупо застывших. Слишком часто ощущение этого «метафизического ужаса» встречается в страшные моменты истории, когда одиночки чувствуют эту жуткую подоплеку уснувших бурь, которые лучше не будить. Но ведь хочется сказать нечто преждевременное! Говорят.

Не буду перечислять имена, потому что придется долго объяснять, — это не Ницше и не Шопенгауэр, не Кьеркегор и не сотня—другая других, которые сливаются в нечто безымянное, как шелест дремучего леса.

Это не пессимизм и не оптимизм. Просто, когда сил уже не остается, ты начинаешь видеть и слышать по-человечески. И вынужден насмешливо думать: то ли это болезнь Паркинсона, старческая деменция, Альцгеймера, то ли рассеянный склероз, и сам ты весь — как диагноз с летальным исходом самому себе, и времени, и миру, то ли старость здесь ни при чем, и не владеть чувствами — свойство самого сознания, когда ты уже готовишься к отъезду и сил на то, чтобы раздать имена, истинные имена безымянному миру, который ты выстрадал, уже не остается. Сил не остается даже сетовать по этому поводу, поскольку повода нет. Жить без повода — основа, которая является следствием случайной свободы (которая не свободна, хотя и лишена причинно-следственных связей, бессвязна), ограничивающими сводами замкнувшая пространство, но она — свобода —наделяет еще и смертельной смертностью, смертоносностью каждого действия, каждого вздоха, который отныне не может быть произвольным, а является причиной смерти. Жизнь, готовая к исчезновению или возникновению исчезновения.

Станным образом, образом свободы, просматривается это восстание против бессмертной смерти, имеющее черты вечности, очень на нее похожее, но не являющееся ею. Только в таких видах вечность тактильно доступна умирающему каждое мгновение не в поисках вечной жизни, а в создании ее своим действием в бессмысленном порыве к абсолютной красоте, пусть даже ее нет. Это сугубо эстетическое движение, где эстетика исчезает в основании. Здесь все кончено, только не смертью, а бесконечностью становления. Только горькая правда, что все кончено, что ты опоздал и твои книги уже в далеком прошлом, что они чужие, они от тебя отказываются, и никакая внутренняя эмиграция, которую исповедовали Э. Чоран, К. Нойка, и М. Элиаде (вполне благополучные профашистские выкормыши), не спасет, как не спасут ни избитые пассажи



записных экзистенциалистов — тошняка Сартра и иже с ним, ни старательно раздуваемая и распяемая вера русской экзистенциальной или религиозной философии: они и не должны этого делать. Те же гуссерлианские попытки упростить ситуацию, объявив воздержание от суждения (оболгав античность; потом эту традицию подхватит Хайдеггер с его закономерным нацизмом и прочие, совершив финт, оправдывающий любой произвол и глупость с обманом, как действительную глупость и истинную ложь в качестве бальзама и виагры для старческого шевеления выжившей из ума мысли) — все это уже не в силах создать даже иллюзию спасения от идеологии и религии, почти смерти, которая тоже оболгана и превращена в идеологию с элементами компьютерной игры.

Смерти приходится доказывать свою подлинность, и она может это сделать только подлостью. Есть утешительный момент в том, что, указав на истинность видимости и кажимости, мы можем довольствоваться «мифологиками» (Р. Барт), микромифами, мелкими бесами индивидуализма, теша себя самообманом относительно своих возможностей, способностей, значимости (вот уж занятие для дураков), но эта служебная функция — простой перевертыш, реверс, попятное движение вперед. Некогда Маркс, кажется, в «Критике политической экономии», справедливо утверждал сейчас ставший общим местом тезис: «Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию». Это верно, но верно, например, и то, что в искусстве и даже в науке (любой) кажимость и видимость играют большую роль (именно играют роль), чем само существо дела, а мнимая очевидность предпочтительнее истины во всей красе. И мучает как раз то, что сам думаешь о себе, даже если на самом деле это не так, что, собственно, безразлично, кто ты и что ты. Имеет смысл только действие, в котором ты пытаешься избежать себя, изжить, если, конечно, ты мыслишь, а не следуешь ролевым играм в фокус-группе.

Самозабвение может быть только когда ты в трезвой памяти, но не в здравом уме иррационализма. Рационализм, иррационализм и все мыслимое терпят фиаско, когда рождаются великие чувства, которые даже не возвышенные, поскольку в бесконечности эти категории обыкновенной классической эстетики смехотворны.

Чувства не распознают себя, когда покидают мир предметности и конечных форм. Они происходят как рождение галактик, и им абсолютно все равно, замечают ли их, принимают, осмысливают, постигают ли их природу. Эту их

странную отрешенность в своих истинных искренних порывах отраженным светом воспроизводит пробуждающаяся трансцендентальная эстетика, не доверяя этому призрачному мерцающему освещению и испытывая давление, будто паруса от солнечного ветра. Но она живет именно этим, когда рассматривает развитие чувств в пространстве и во времени, которые сами же эти чувства и создают.

Однако, создают, оставляя позади, превращая потенциальную бесконечность в актуальную. При этом исчезающая потенциальная бесконечность не перестает быть бесконечностью и снимает в себе и собой всю потенциальность, оставляя все как «может быть» в виде антиципации. В мире превращенных форм, возвратных и возвращенных, взрощенных разделением труда, вопрос о бесконечности потенциальной не восстанавливается. Потенциальность превращается в тотальную бесконечность импотенции невозможного.

Здесь властвует формальная бесконечность пенитенциарных заведений, форм и отношений причинно-следственных и наказуемых, осуждаемых связей, которые ведут к бессвязности и абсурду. Последние могут быть желанны. В этом отношении отказ от суждения действительно может быть выходом, вроде того утверждения, что можно быть свободным и в одиночной камере, в зависимости от того, как на это посмотреть и описать. Но это иллюзия, которая формируется волей и представлением, с которой потом трудно бороться, поскольку она воспитывает страстное желание таким же образом избавиться от свободы, отрекшись.

К тому же актуальная бесконечность, превращенная из потенциальной, рождает всепоглощающую тоску по утерянной потенциальности, испытывая, пытая ностальгией о ней. Конечно, она не может быть вполне, и эта нужда мучает своей неисполненностью и невыполнимостью. Она носит на себе печать смерти потенциальности. Действительно, сущность в превращаемости. Взаимопревращаемости, поскольку актуальность потенциальной в ее будущем — в возможности актуальной, а потенциальность актуальной в том, чтобы быть потенциальной, а не ее смертью. На самом деле это не две бесконечности, и не одна, а тотальность абсолютного, которое не определено, непостижимо, но постигаемо.

То же относится и к красоте, свободе, и ко всем последним основаниям, где они теряют свою определенность, и никак не соответствуют представлениям нынешнего убитого времени, где выполняют несвойственную им функцию роскоши (надо сказать, что собственно человеческое не функционально).

Я не предаю философию, она предает, правда, последней. Первой уходит поэзия, вслед за ней музыка, меркнет, если сохранить честность, искусство в целом. Правда, особым образом: оно становится невыносимым своей грандиозностью, поэтому ты не можешь слушать музыку, поскольку она просто убивает с первых тактов. То же и с другими чувствами. Здесь все просто. Уже говорилось, что чувства, вздымаясь и доразвиваясь до единого чувства, исчезая в нем и им теряясь, — даже чувства поэзии, музыки, философии и прочие теряют свою определенность и предметность, предварительно заставляя чувствовать философией, музыкой, живописью, превращаются в единое чувство, которое превосходит (то есть восходит, исходя в иное до существования) свою единственность, и уже не является в полной мере чувством, но способом бытия.

Вот это чувство может дышать только теми свободой и свободным пространством, которые само же и создает. А этому еще не время. Ты — единственное пространство свободы, где свобода ушла в основание и является делом жизни, не больше и не меньше. Чувства обрушиваются и растерзывают тебя, разносят на атомы, на неделимости, поскольку не знают иного. Свобода — не дело одиночек. Ты же — единственно всеприемлющ. Им, этим чувствам, на этой земле просто еще нечем быть, нечего чувствовать. Они все: «так держится сама собой болезнь покинутости» (Г. Айги). Не больше и не меньше, ровень с собой, но и «более чем», как боль, — более. Боли быть не должно, а она есть. Это все в предмолвии молчания.

Но, может быть, просто входишь в «возраст потерь», и не можешь справиться с покинутостью. Книги, еще не родившись, гаснут, устаревая, и потом, если повезет, с опозданием в тридцать лет накатывают, переполняя, их читаешь, как будто слушаешь; вот если бы раньше, тогда. Это создание тогда-современности, настоящести, которая не настает. Скорость восприятия все убыстряется.

Но вскользь понимаешь, что линейная перспектива не только в живописи, но и в музыке или философии заостряется к точке схождения, а на самом деле, придя к этой точке, обнаруживаешь тот же простор и несводимость, но и странную обратную (непривычную в трактовке Панофского или, еще великолепнее, Флоренского) перспективу, необычную, когда точкой схождения оттуда — ты сам со всем к этому стремишься, свертываясь в воронку, в вихрь, когда в тебя впадают слова, реки, океаны, краски, и, заостряясь к глазу, угрожают ему, промахиваясь в бинокулярности (между глаз, за глаза), наталкиваются на взгляд,

режутся, и на взгляд (как раз на первый, с которого начинается любовь) нанизываются, потому, что горизонт не «за», а к тебе и тобой положен, отчеркнут и вычеркнут, подчеркнут и перечеркнут, и ты, как черная дыра, поглощаешь, свивая, свертывая все это в кровавый расплав, огонь бьющегося бытия, в ничто.

Раскаленность и изморозь, озноб непреходящего происходящего, как закливание, не «самое оно» (А. Ф. Лосев) а «все, что угодно, только не это», да еще с тайной надеждой на «все, что угодно». Но — что угодно, раз нет желаний, то хотя бы желать желание, так и этого тоже нет.

Только надо ли? Тайна чувств открывается чувствами. Ощущения — осязаниями чувств. Тот, кто знает происхождение чувств, владеет развитием.

Меня всегда интересовал вопрос, почему идею красоты и идею чувств никто не расколупывал хотя бы из любопытства?

Нет, собственно, об идее говорилось много, но чувства оставались не постижимыми. Ограничивались подробным анализом ощущений, но чувств не касались, подразумевая их неприкасаемость. О прекрасном тоже дотошно писали, анализируя. Но красота оставалась в стороне, в дальней стороне, как и чувства. Писали все больше об ощущениях, эмоциях. Чувства обозначались.

Сперва думалось, что не знали, потом, что не хотели, оставляя непостижимому. Но теперь ясно, что были гораздо умнее, чем я думал, вторгаясь сослепу в эту область. Знали, что касаться нельзя, потому, что если выдать тайну происхождения и, не дай бог, производства чувств, то ведь можно будет производить не только прекрасные, но и самые чудовищные, которым человек будет не властен сопротивляться. Пока это дело случая. И, к счастью, слишком хлопотно, поскольку чувства неуправляемы и могут быть только свободными, а выпускать истинную свободу на свободу опасно и непредсказуемо, гораздо проще не допускать роста чувств вообще, ограничившись вполне одномерными ощущениями, которые можно производить (и производят) как одноразовые изделия, формировать потребность в них, и, при случае легко утилизировать.

Но те, кто хоть раз рискнул, забывшись, неосторожно попасть в эту сферу, — не поняв, что это не просто проблема, от которой можно откреститься, а что эти пробужденные к жизни чувства и явившаяся абсолютная красота не пощадят, заставив самоуничтожаться и жить этим самоуничтожением, — эти немногие получили то, что хотели, чувства без меры и красоту, но взамен у них отнят язык и, думаю, способность к разуму. По крайней мере, ни один не проговорился.

Впрочем, если бы и проговорился, то и тогда их бы никто не понял, как иногда не понимают поэзию или музыку, поскольку их чувства говорят на том незнакомом языке, который без слов может понять только чувствующий, и то по большей части угадывая. Но кто смирится с неизбежным — в полной мере ощутит свою бездарность, как безграничность. Тотальность как невозможность. Все в прошлом.

Так что, собственно, остается «свести счеты с прежней философской совестью», что не обязательно делать публично. Чтобы разобраться же с идеологическими предрассудками, господствующими в нынешнем времени, останавливаясь на каждом поименно, уже не хватит даже всего этого глупого времени. Тут надо решиться просто смыть грязь осадочных возвращенных форм и освободить пространство философии, которую обсели вши, избавиться от интеллектуального педикулеза сразу и целиком, а не заниматься дрессировкой паразитов, обучая их артикулу.

Хотя это кишение вполне можно рассматривать как искомое многообразие, исходя из того, что нет ничего одинакового, только подобное, ни в действительности, ни за ее пределами. Исследовать нечего, поскольку формальное многообразие однозначно и однообразно. Описывать это — пустая трата жизни, достаточно того, что эта свалка есть.

Современная мысль (мыслью ее назвать трудно) загибается от обжорства, страдает интеллектуальной булимией, истерично поглощая массы сомнительных сведений, отбросы и помой некогда роскошных и изысканных блюд. И даже в так называемых точных науках существует раньше негласный, а теперь признанный принцип, что неточность — это «как бы не ошибка» (достаточно вспомнить теорему Гёделя).

В самом деле, стало вполне правомерным начинать с ложных предположений, загоняя в основание вероятность, подменяя ею возможность. «Энергия заблуждений», о которой часто упоминается, действительно бывает, но это такой же миф, возведенный в идеологию, как и «темная энергия» современных физиков, которые не могут справиться с «Ничто», думая, что это вакуум, забывая, что отношение бытия ничто как становления известно философии многие тысячи лет, и действительно существует и не существует, есть и не есть помимо всякого момента, в отрицании времен и пространств, что и снимает в единстве одной сущности, а не разных.

Современное карнавальное состояние духа, отказавшегося от себя и сознания, предпочитающего ползучую эмпирическую видимость, дает свои результаты. Философия забыта (от этого она не престаёт быть).

Сейчас совокупное усилие направлено на бесхитрое произрастание «Эктелопедии» (термин Лема) то есть энциклопедии, которую редактирует и исправляет каждый, причем не только посредством письма, но и действием в любой области. Что-то вроде энциклопедии Укбара Борхеса, когда сознательное внесение ошибок делает их действительными и преобразует, переосуществляет мир. Занятная игра и, может, именно она спасает мир от сумасшествия — безумием, безмозглостью. Но не всем это нравится. Мне нет. Хотя, это выход для искусства, облегчающегося с облегчением. Оно получает дополнительное пространство, где оно еще не лишнее. Можно не думать, не страдать, не убиваться, поскольку это всего лишь спектакль, хотя и он — дело серьезное, но, как и искусство в целом, привлекает своей безответственностью и полным избавлением от большой совести.

То же и в бывшей философии. Проблема формы, причем внешней, занимает куда больше реальных проблем. Избавленная от дидактической необходимости быть учением, философия не перестает поучать. Как заметил Сартр, «Философы пытаются учить жизни, но впадают в истерику от жужжания мухи». Ну, специалисту по мухам виднее, а что касается истерики и истеричности, то по Адорно, это вообще универсальная, служащая всеобщим эквивалентом так и не произошедшим чувствам, эмоция-реакция обывателя и мелкого буржуа.

Можно исследовать, в какой степени она созвучна иронии, но ни к чему, достаточно, что они плоские и представляют мгновенное реагирование потребителя на обстоятельства, являясь условием происхождения. Это сопровождается пафосом и риторикой, как правило, изобилует штампами и общими местами, индивид впадает в самозавод и распяляется от собственной правоты на пустом месте. Преднамеренное убийство чувств, на всякий случай, недопущение их произрастания. Не до идей.

Вальтер Беньямин почти прав, когда утверждает, что идеи не даны в мире феноменов. Здесь властвует поведение, которое далеко от всякой философии. «Истина — смерть интенции». При этом современное искусство, все без исключения, демократично высокомерно. Стелясь и работая на потребу потребителям, качественно сервируя даже буквальное дерьмо, оно рассматривает их как слабоумных, тщательно комментируя каждый свой шаг, чтобы не дай бог

не оказаться непонятым, хотя запросто отрещивается от самого себя, сознательно удаляясь в иронию и цинизм. Пусть себе, это дело его адептов. Какое время, такое и искусство. У времени не спрашивают, стоит ли тратить такие усилия для достижения такого мизерного результата. Подчас отрицательного, мнимого. Главное, что результат стоит, и немало.

Собственно идеология стоимости вся в этом. И искусство, и философия тенденциозно и интенционально идеологичны, что оправдывается всей практикой одного и другого. Ужасает грандиозная правота неумолимого учения Маркса (как бы к нему не относится), чего не скажешь о марксизме, вообще, все эпигоны, последователи и ученики, как правило, демонстрируют процесс разложения. Они живут тлением: будь то упомянутый Маркс или, скажем, Кант с кантианцами и нео-, или, попроще, ильенковцы, неоструктуралисты, семиотики, феноменологи и все прочие многочисленные пошести — все равно страсть к упрощению и выхолащиванию налицо. Сетовать по этому поводу смешно и нелепо. Разве что захочется размяться и заняться чем-то бессмысленным, как-то раскладывание пасьянса из многочисленных фамилий. Но вот отречься от этих игрищ — зась. Очень трудно избавиться от необходимости в тысячный раз пересказывать, как ты понимаешь и принимаешь предшественников.

Здесь ты как будто сдаешь экзамен на проф. пригодность, а значит, должен выдать всем известные банальности и захватанные, лоснящиеся от долгого употребления штампы, чтобы не дай бог не подумали, что ты не читал какого-нибудь серенького Дерриду. Мало того, что это липа, поскольку не читал его в оригинале — это раз; читал его не вовремя, в другом времени, в другой исторической ситуации и с опозданием на 30 лет — это два; но ты должен смотреть на круги, образуемые его плевком в адрес истории вопроса, на пузыри и муть со дна, дабы знать, какой шорох он наделал среди «сорбоннаров» и прочих. Суть здесь в том, что вместо того, чтобы мыслить, ты должен, причем совершенно добровольно, заниматься ликбезом, — не обязательно возможного читателя, а, по большей части, в отношении самого себя.

Тратятся умопомрачительные (так и ходишь помраченным) усилия, чтобы прочитать бесконечную вереницу авторов, чтобы убедиться в никчемности их построений или откровенном плагиате. К тому же их пустота может оказаться твоей собственной неспособностью это уяснить, на проверку такого предположения тоже уходит множество усилий.

В конце концов, когда оказываешься перед реальной проблемой, сил не остается. Вся так называемая философия тратит громадные усилия на доказательство и оправдание своего бессилия. Кроме того, следуя сентенции Гёте «В том, что известно, толку нет, одно неведомое нужно», наталкиваешься на то, что когда сталкиваешься с неведомым, оно, как правило (правил еще нет), не нужно, оно — неведомая свобода, и потом, ты не знаешь насколько оно неведомо, и не имеешь никаких критериев: проблема ли то, что ты, подчеркну, не видишь перед собой, не ощущаешь в себе и вокруг. То, что исполняет роль философии — дурно исполняемый агитпроп, который занимается в основном оправданием унылой действительности. Отказаться бы от этого, просто забыть. Но такой шаг потребует титанических усилий, так что проще смириться и забыть свои притязания — на что? На Ничто, как пространство развития.

Есть и другая сторона: принимать все без остатка, по возможности ничего не утрачивая и не теряя (во многом из справедливого представления, что усилия не стоит забывать, даже незабвенное забудется само, и рассеянный склероз настигнет, как не крути. Не «заморачиваться», как говорят нынешние, выбором, само выберется).

Не мы выбираем философию, а она нас, и имеет ту форму, в которой только и может сбыться, тот образ мышления, каким видится и кажется, показывается, выказывается, наконец, единственный способ дела, как конечная цель и энергея, модус вивенди, составляющий смысл не только философии, но и жизни, хотя вопрос жизни и смерти — не вопрос, нет ничего более бессмысленного, поэтому с этой чистоты, как правило, начинают, и ею заканчивают.

Может быть — стало быть. Должно быть и должно быть — не одно и то же. Их различие снимается в безразличии и единстве бытия, и ничто — как истина возникновения происхождения и создания из ничего, как самобытность.

Заручившись поддержкой кого-нибудь поавторитетней, скажем, Канта, снисходительно похвалив его, похлопывая фамиллярно по плечи, обнести его? Пописывая что-то вроде громадного программного опуса Якоба Брукера «Критическая история философии от сотворения мира до наших дней» в шести томах [13], громоздкое и неудобоусвояемое, ковляющее от просиллогизма к эписиллогизму. Все вырождается в хилые популярные банальности, особенно когда пишут о чувствах, которые как раз никогда не бывают банальными наяву, а уж в грезах и подавно.



Чувства, в разрез с расхожим мнением, никогда не обманывают, но ими можно (и должно) обманываться. Они не предадут, но их предать можно (хотя нельзя, но сплошь и рядом).

Если разочаровываются в чувстве, то есть другое чувство, которое очаровывает — чувство разочарования, хотя для этого нужно быть, как минимум, очарованным. Их изменение невозможно, но измена внезапна. Их постоянство — в изменении. Если бессмертное чувство все же умирает, то на самом деле умираешь ты.

Некогда, под впечатлением Аполлинера, написавшего в свое время цикл «Алкоголи», написались «Банали» (не буду обсуждать эти изыски, но название «Банали» — весьма). Так вот, вся современная философская мысль — по поводу. Она — баналь, круто замешанная на вывертывании из чужих цитат и, редко, мыслей. У нее нет своего предмета, кроме самолюбования. Gedankending — пустое порождение мысли.

То же относится и к недоразвитым чувствам, а недоразвитые, не исполненные они тогда, когда не выполняют своих обещаний, сказав заклинание — честное слово о себе. Обычно чувства общаются и обходятся без слов. Они — то, что можно сказать, но не обязательно — пустое, и обычно высказывание приписывает пустоту именно чувствам, например, называя их по именам. По себе знаю, что никогда не возможно дойти до сути дела, оставаясь в самом начале. Потому что пытаешься втолковать гипотетическому собеседнику о том, что еще не предполагаешь сам, о чем даже не догадываешься. Пытаясь стать понятным, ты растолковываешь все до бестолочи, что стало расхожим в истории философии, тем самым выказывая только свой уровень эрудиции, свой небезупречный или изысканный вкус, если таковой имеется.

То есть, к каждому слову желательно написать несколько томов, чтобы объяснить, что ты имеешь виду. На самом деле это ошибка. Если потенциальный соглядатай в твоей книге не обладает должным теоретическим уровнем, или, хотя бы, смекалкой, которая, как в том анекдоте про солдата, высунувшегося из окопа и увидевшего летящий на него снаряд, подсказывает, что это... карачун, то ты ему ничего не докажешь и не объяснишь.

Сам ты не читатель, ты писатель, и понимать себя недосуг. Поэтому в идеале надо писать так, как будто все вокруг понимают гораздо больше тебя и знают намного больше, что на самом деле так и есть. Это не сомнительный компли-

мент, а так и есть. Совокупный субъект превосходит мои возможности настолько, что я не просто исчезающая величина, а даже не возникающая (хотя «возникаешь в каждое мгновение»), в этом — моя бесконечность, личная и настоящая неповторимая единичность.

Именно поэтому, по моему искреннему убеждению, читателя и себя можно игнорировать. Книга — это не заметки на память и не мемуар — это забвение про себя, на память. Поэтому интересно, — хотя тысячи страниц написаны, и мною в том числе, — интересно, что бы я сказал, если бы все всё знали, не требовали пространных ссылок и понимали бы все с полуслова, а то и вовсе без слов. Тогда бы я не считался с тем, чтобы быть понятным. «Я не выдаю то, что люблю не по нужде.// А там, давясь слезами — не стыдно умирать...», — как сказал один поэт. Я понимаю, — как бы это состояние повывразительней назвать, — что-то вроде «Хамаугэ», что по-бурятски означает полное отсупствие ума.

Но чувства как раз воспринимаются непосредственно, и безумны. Многие, очень многие делали своим девизом слова, написанные в разные времена, но как будто одним человеком: «В уединении слова не нужны» (Ду Фу); «Будь таким, каким ты себя познал» (Пиндар); «Стань тем, что ты есть» (Гёте) и т. д. Но есть в них горечь самооправдания, а не пробрасывания за предел в неведомое, хотя именно это и есть истинный предел, который следует преодолеть собой, себя опровергнув.

## 2. «Что бы я сказал, если бы...», или Хамаугэ

Если можешь писать без условий, мотиваций, не впадая в маразматические поиски смысла и предназначения, то, не взирая на то, что все тобою созданное может быть обычной графоманией, это движение оправдано. Тем более, отлично понимаешь и безо всякого Шелера: «Подлинной и абсолютной *свободы научного поиска* в истории никогда не было; тем более нелепо думать, будто она выросла из автономной силы самого научного духа (и дальше совсем никуда в своей предубежденности. — А. Б.) — свобода науки возникла из *взаимной конкуренции реально-социологических* факторов, причем в тесной связи с самостоятельной *философией*. То, что обычно называют свободой науки, есть лишь относительная свобода, смена рисков ее подвластности» и т. д. [14]. Полная

ерунда, даже если кажется, что конкуренция «реально-социологических факторов» налицо. Так может быть, но уже давно самостоятельная философия переросла ползучую необходимость и востребованность, исходящую из прагматических требований нужды. Философия больше не нуждается, хотя и может опуститься до уровня побирушки у помойных баков цивилизации. Это не ее сущность, хотя к этому могут сводиться ее социальная роль и предназначение. Принудительные исправительные работы фашиствующего общества. Впрочем, такое общество упраздняет философию, объявляя ее вне закона, и обходится вообще без мышления, довольствуясь условными рефлексам, выдаваемыми за инстинкты и зов крови. С «легким и кляузным сердцем», как писал Шкловский, или вообще без оного.

Упраздняя, празднует свободу от необходимости мыслить, потому, что думать свободно и по-человечески — тяжело, невыносимо. А вседозволенность «убийства букв» и поощрение расправ над мышлением возведены в ранг добродетели современной цивилизации. Заказное убийство философии это, выражаясь языком современных полицейских сериалов, заменяющих сознание — «глухарь». Сдано в архив и проблемой не является. Эксгумации не будет. Если какой осквернитель могил и забредет, то только с мародерскими мечтами поживиться украшениями, хотя покойница и так ободрана до нитки. Все содержание мысли современности — в доносах. Хамство подобного общественного устройства, основанного на холуйстве, безмерно.

Настоящая философия предназначение если и имеет, то как побочную партию, как принципы «потом», в конце, а не основополагающие (основооблагающие и основооболгающие, вроде примитивной неотеологии и дремучего неотомизма. Святой Фома во гробе переворачивается, думал ли он, что его так упростят и употребят?), призванные заменить свободное мышление эрзацами, в лучшем случае — негативной теологией в духе известного Розенцвайга. У-Богость подобного вы-думывания, как выделывания шкурки убиенной идеи, настолько наглая, что теряешь дар речи. Впрочем, почему бы и нет, если очень хочется.

Причина возникновения мышления и самосознания есть, но она поглощается самим движением в никуда и исчезает в развитии, которое свободно и необусловлено, тем более, когда свобода становится природой человека. У Шеллера есть замечательное примечание: когда человек нового времени говорил

«природа», он обращал свой взор к звездному небу над головой или звездному небу внутри нас. С девятнадцатого века слово «природа» означало просто «пейзаж», но, как выразился, хмыкнув, один остроумец: «сейчас при слове “природа” представляют не природе человеческом, не универсум, а просто “поход на шашлычки или барбекю”». «Барбекю и природа — синонимы».

Пока этот процесс превращения свободы в природу — дело случая. Известно, что поначалу, вплоть до немецкой классики, свобода — освобождение от природы, вывертывание первичной свободы из природы, потому свобода — «осознанная необходимость», но, превращаясь в природу, уходя в основание, свобода свое не следование причинно-следственным связям превращает в чувственные силы, обращая в себя все, даже необходимость, чувства, волю и, если хотите, насилие в истории. Но не дай бог увидеть историю без поэзии, сохранив способность видимости в неприкосновенности, неизменным. Это все равно, что знать историю без истории в ее натуральном обличье, в бессловесном механизме. Дело не в приукрашивании и декоративной лепнине, но история, лишенная воображения и чувства историчности, представляет собой неимоверную мерзость, обладающую способностью воспитывать любовь к низменному, к падали, к разложению. Это омерзительно, но это я с рудиментарными остатками чувств так чувствую, и содрогаюсь, меня передергивает от картин современной жизни и гниющего мяса истории, а нынешним все нипочем, универсальность их иного рода, основана на одномерности безразличия, когда любое преступление оправдывается и выдается за героизм, любая подлость за правое дело, и все равно, кого убивать, лишь бы убивать.

Пока этот процесс ухода свободы — дело свободного случая, и не заходит дальше «свободного суждения», которое не доказывается и не имеет условий и оснований, вообще свободно от чувства собственности и происходит не постепенно и последовательно, а одновременно, антиномично.

Стоит этим заниматься и, чем бессмысленнее с точки зрения происходящего действие, тем оно грандиознее. Наваждение письма тем невероятнее, чем плачевнее складывается ситуация. И лучше бы замолчать навек. Так честнее. Но невероятный идиотизм и фатальная крикливая глупость настоящего заставляет чисто инстинктивно выстраивать укрепления текста, как доказательство и критерий, что еще жив.

Уход в близкое далекое. Сижу, читаю Кузанца, перебираю Шеллинга,

листаю Спинозу, рассматриваю, восхищаясь (как это можно было, когда все безнадежно, разваливается не страна — империя, а в целом — умирает античность, писать рукопись без надежды, что ее кто-нибудь прочтет, не зная, будешь ли жив завтра и не обращать внимания на то, что происходит вокруг), Плотина и Прокла. Платона, которого дважды продавали в рабство. Покрепче люди были? Пересыпаю строчки и слова. И времена? Когда они жили, похуже было, пострашнее. Не очень им жилось. И я старше многих, зажился, пережил. Понимаешь, что все не так плохо. Все очень плохо. Гаже некуда. И не голодаешь. Есть свет, интернет, горячая вода. Есть всё. Сиди, пиши, что хочешь, пока цензуры нет, пока не отлавливают.

Но не пишется. Свет онемел. Смотреть не на что. Видимость изымается из отношения, оно не относительное, а безусловное. Видимость видимости не видит. Негативная изъятость видимости как способность видеть и видеться, приобретает случайную возможность формирования видения, как процесс. Видимость не как иллюзия, которая все скрывает и кажется, показывается, выкачивается, а откровенная в своей очевидности, даже видимость невидимого. Вопрос не в том, «что мы видим». А в том, «почему», «как, каким образом, мы не видим в созерцании не только чувственном, но и интеллектуальном».

Само созерцание — бесконечный процесс, тянущийся вслед за практикой, как ее след и освобожденное тем, что сбылось, будущее; не только пространство времени, но и свобода самого пространства. При этом не только обратная точка схождения, но и обратная линия горизонта, и это — возвращенный ты, горизонт — не только мнимость, но и реальная траектория твоего движения, пройденный тобой путь, твоя автобиография, ее прихотливый маршрут. Он рассекает глаз, как бритва (вскрывает зрение, заставляя его вырваться потоком на свободу) в «Андалузском псе» Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали, прекращаясь в гравитационный коллапс взгляда, втягиваясь спиралью в глаз, который «солнцеподобен» (Гёте). Не подводит черту, но вбирает в себя всю светоносную историю бесконечности. Сколько вечности необходимо было избыть, чтобы создать феномен видения. Сформировать глаз и научиться бросать взгляд? В небытие как в присутствие. Вставая дыбом, вертикально, горизонт становится сечением пространства, он не горизонтален. Взгляд, брошенный на него, всегда усечен. Усекновение простора, сечение его заставляет мембрану видимого предела петь, звучать далью, которая по ту сторону. Интервал от взгляда до гори-

зонта имеет свой звучащий объем. Он не подводит крайнюю черту, а сходится на себе самом, сходя на нет, и открывается, как не сбывшееся обещание. Пространство не подчеркивается, не отчеркивается, не маркируется прерывистостью трассера, взгляда, маркирующего его увиденностью. Пространство временится и рождает со временем длительность, долготу, претендуя на некую субстанциальность. Ничто здесь мгновенно, поэтому не воспринимается дискретность видения, только непрерывная мгновенность быwania. А именно в прерывности, перерыве постепенности, коренится время и возможность идеальности, обнаруживающей свою реальность. И посюсторонность.

Это не черта, отделяющая числитель от знаменателя, взгляд знаменателен происхождением, ростом горизонта, который не охватить никаким «динамическим воображением» (Кант. Свободное суждение необусловлено и не причинено, здесь нет невежества обыденного сознания или здравого смысла, ведают неведомое, и нет самоуничужения в том, что «я знаю то, что ничего не знаю», показного фальшивого смирения. При этом я не устанавливаю горизонты на плоскости. Не вырабатываю горизонты в глубину, я их упраздняю собой, сам я, являясь горизонтам, для видимого, оттуда.) Все гениальные прозрения прошлого манят своей непостижимостью и неисчерпаемостью. Они происходят всегда, «и покидают, и не покинут» Оставляя лишь бесконечное удивление.

Виктор Шкловский пишет: «В “Алисе в стране чудес” героям, по составу пародийно-разнообразным, приходится сидеть за традиционным чайным столом. Когда чай выпит и кекс съеден, они пересаживаются дальше. Стол бесконечен. Края стола сходятся вдали, как рельсы. Если посмотреть, посуда все уменьшается и уменьшается, но это одна и та же посуда, одни и те же приборы.

Алиса спросила, а что будет, когда стол кончится?

Ей ответили: “Нельзя задавать неприличные вопросы” [15].

Стол бесконечен и в прошлое тоже, и на нем остается грязная посуда. Выигрывает только тот, кто сидит впереди, остальные доедают с использованной посуды, пользуются использованными приборами. «Где стол был яств, там гроб стоит». Стол уже использован. Пора задавать неприличные вопросы.

Правда, есть некое сознание, что ты знаешь, или думаешь, что знаешь, о чем они, и есть сатанинская гордость причастности этой фантастической поэзии философии, и если пишешь невесть что, без мотивов и причин, то есть смутная надежда, что это не приступ графомании, не зуд письма, не расчесы экзи-

стенции, а сама искомая свобода действия тому беспричинная и беспечная причина. «Кто был, в ничто не обратится, причастный бытию блажен» (Гёте).

И тебя развернуло и скомкало то самое «мужество усилием преодолеть самого себя, поскольку невозможность совпадает в тебе с необходимостью» [16] (каков Николай Кузанский!) Вся телеология Канта пасует перед этой невозможностью в основании, хотя и он восхищает несказанно, когда рассуждает о «динамическом расположении воображения», о возвышенном и прекрасном. И пора бы эту временную позицию усвоить и тем преодолеть, но нет, не доросли, и, «терзаясь пошлой печалью» (Ф. де Соссюр), тоскуем о небывавшем. Которое надлежит быть, руководствуясь «моральным чувством» и живя из чувства долга, изредка, случайно свободой срываясь в противоречие нравственности.

Если хотите, здесь — действительно проблема свободного выбора, хотя выбор — не свобода. Когда я признаю, что без поэзии истории не бывает, и знаю не только о том, что она необходима, но и свободна, я прекрасно осознаю, что это миф и иллюзия даже не трансцендентальная, как и справедливость, порядочность, честь, любовь и прочее, но, если я этого не признаю, то подтверждаю действительность и даже право на действительность низменному, подлому и пошлому существованию. Впрочем, это происходит, если я признаю возможность истины добра и красоты. Дело в нравственном выборе. То есть в норове. Если я сражаюсь за красоту, это еще не факт, что красота не может превратиться в садизм, а свобода в подлость, но, по крайней мере, я оправдан в нравственности. Если же я выбираю так называемую действительность и утверждаю, что мир подл, человек изначально зол по своей природе, то я становлюсь адептом морали, которая, как известно со времен Канта, изначально безнравственна, то тогда низменное становится священно неизменным и действительным, дело в том, чтобы лишить его возможности быть. А между тем все проблемы этики решены, это не более чем учебная дисциплина. Все, что могла сказать, сказала, дальнейшее — только вариации. Вопрос в поступке, а у нас, как уже говорилось, ходы.

Этот разрыв между чувственным и рациональным, между моралью и нравственностью, между пространством и временем, в любом, но таком едином противоречии, унижает. Потому что теоретически, и даже чувственно, перерастаешь все это, но вынужденно ограничиваешь свою свободу.

Эта свобода получена оступившись, отступлением от предела, который

остаётся позади, как освобожденное от меня, покинутое, и потому опоздавшее пространство. Слишком поздно. Опаздываешь хотя бы формально. Всегда отстаешь от самого себя, оказываешься в положении догоняющего. Книги устаревают еще до написания.

Скорость развертывания события быстрее способности восприятия. Завтра будет казаться детским лепетом (который, оказывается, очень глубок, содержателен и всеобъемлющ) то, что сейчас требует невероятных усилий. Привыкнем, освоимся с мельканием.

И это не «кадры, пожирающие время», как выразился Шкловский о творчестве Эйзенштейна, это пустые мелькания дней, все ускоряющееся простое, без содержания, перемещение к смерти. Trash — баракло. Мусор исчерпанных форм, шелуха наличного бытия. На месте. Впустую. Нынешние времена пусты, и не гулкой пустотой акустических, музыкальных, отзывающихся пространств. При все увеличивающейся скорости происходящего, ничего не происходит. Только тупое перерабатывание жизни. Нечего ни останавливать, ни сопоставлять. Пустота, не выразимая словами.

Конечно, «Есть затоптанные, как ступеньки метро, слова, без которых трудно двигаться» (Шкловский). Есть слова, которые, как конвейер, перемещают тебя к крематорию. А есть слова, которые не произошли и не вызревают, не вызреют уже никогда, потому, что нет воздуха, света и прочего.

И хорошо бы — стерильность. Здесь чистота особого рода. Чистое бесприемное дерьмо. *Экстракт* чистого отработанного времени, но не свободного, а хранящего всю необходимость, не снятую в свободе, и даже эта необходимость не свободна в своем деспотизме. Нельзя пошевелиться в этой бетонизирующей пустоте. И в этой пустоте необходимо создавать «чегонетость» (Эйзенштейн), создавать не из ничто, — это просто, в ничто легко дышать выдуванным воздухом, — а из того, чему слов нет, но я-то занимаюсь переводом на прошлый язык того, что невозможно, но невозможным образом уже есть.

Потому что теоретически, и даже чувственно перерастаешь все это, но вынужденно ограничиваешь свою свободу. Эта свобода получена отступлением от предела, который остаётся (и тем перестает быть процессом, становится пределом всему, покинутый, он больше не растёт, он помнится и предчувствуется тем, что может вернуться, — рецидивный предел, — и он возвращается, как возвратный тиф, вот эти возвратные или уже-было-преодоленные пределы не бла-



городны, они тупы и злобны, необъективны, когда ничего не поделаешь, они выступают барьером, к которому во имя чести нужно идти, они отвратительны своей нечистой вторичностью. Их не преодолевают — ими замазываются, в них вляпываются или заражаются ими) позади, как освобожденное от меня пространство, покинутое. И потому опоздавшее. Слишком поздно. Подошли сроки решать проблему, а основания для решения отступили, ухнули, и пустота принимается за основу. Вроде искусственной невесомости, смоделированной в пикирующем самолете-лаборатории. Она похожа на невесомость в космосе, но не такая. Так и здесь: Прекрасное подменяет Красоту, свободу — облегченное освобождение от принуждения необходимости. Повторюсь, отсутствие необходимости — еще не свобода, или свобода в созерцании, когда смотрят на очевидное, но видение здесь не возрастает, оно мертвое и статичное. Созерцание уже произошло, и зрение, как свет от уже умершей звезды, как оставленный на сетчатке след, световое пятно, росчерк метеорита. От ушедшего света, когда глаза закрыты и жизнь ушла. Но глаз не сформирован, взгляд не окультурен и, соответственно, не видит. Свобода требует свободного действия. Действие в свободе как пространстве развития, без доразвития до действующей свободы, которая не принуждена к действию, немыслима, как взгляд невидящий и невидимый.

И неясно догадываешься, что предшественники терзались теми же проблемами: по крайней мере, ты на верном пути, в пути оставаясь, пытаешься решить проблему абсолютной свободы, свободного времени, уходящей в основание, не менее абсолютной, красоты, укореняясь в ней и следуя ее прихоти. Ты сам — ее прихоть. Заставляешь их перестать быть проблемой. Загоняешь их исчезновением в становлении как основании, что нелепо и невозможно, но зато необходимо свободно, то есть действительно. И всеполнота, преодолевающая, создаваемая тобой, всевременность, отсутствие времени и его нехватка и есть жизнь, которой живешь не по нужде, а от избытка. «Чего тебе не хватает?» «И мне не хватает уже себя самого» (Пиндар). Не хватает лишь смерти. Утрата смерти на целую жизнь. Отсутствие, лишенность, лишность смерти восстанавливает все без остатка время, которое происходит из этой лишенности: всей жизнью вызревающая смерть.

Все уже написано в таких количествах, что не разгрести за миллионы человеческих жизней; и не разгребают. К чему заново все это проходить. Расти

до определенного уровня, и снова под нож, и снова — в том же направлении, на высоту заведомого, предзаданного роста. А выше — не то, что невозможно, а просто не успеть, да и не твоей природы дело.

Но подлость в том, что, подобно организму, вынужденному проходить все этапы эволюции в процессе своего развития, повторяя в филогенезе онтогенез, кратко актуализируя всю вечность и бесконечность, проистекающую, а не простирающуюся, исчерпывая и снимая ее в своем непосредственном единстве бытия и ничто, — развитие продолжается. Мы актуализируем вечность и бесконечность, как историю своего развития, буквально привораживая прошлое, создавая его заново. «Призывать к бытию несуществующее значит сообщать бытие ничему; таким образом призывание есть творение, сообщение — сотворяемость» [17].

Здесь — бездна поэзии, которая случайна и непостижима. Я чувствую себя исполнителем. Есть же виртуозы, которым лучше удастся исполнение Моцарта, или Брамса, не важно кого (другие не хуже и не лучше, а равны самим себе, и даже в ресторанном меню можно найти глубокие философские мысли и великую поэзию. Даже в рецепте состава лака Рембрандта или технологии получения краски, правилах извлечения звука и т. д.), и в давно знакомом тексте, выученном наизусть, открывается бездна, так, что ты слушаешь совершенно новое произведение, а не его интерпретацию. Не знаю, как на слух, но мне нравится исполнять немецкую классику, играть для себя Кузанского со Спинозой (я исполняю Шеллинга соло и в ансамбле), изредка, для разнообразия, создавать икебаны из современных авторов. Может быть, ничего подобного они и не имели в виду, и в мыслях не было, но бесконечно прав Кант, когда говорит, что: «Эстетическая целесообразность есть закономерность суждения в ее *свободе*» [18]. То есть мы смотрим иначе, чем мыслим, а вот должны ли так поступать — это вопрос.

Конечно, мы знаем, что Земля вращается вокруг своей оси, но прекрасно, когда Солнце всходит. Кантовский пример, что человек смотрит на океан в непосредственном созерцании независимо от знаний, отягощенных представлением о кишках гадах, составе воды и прочего, воспринимает его возвышенным, как его видит глаз. И человек воспринимается эстетически, игнорируя целесообразность органов и качества его анализов. Все это так. Но выводить из этого моральный закон, властвующий над «предшествующими ему мотивами души»,

как «предмет чистого и безусловного интеллектуального удовольствия», когда «эта власть становится эстетически заметной» «только через самопожертвование», «хотя это есть лишение, хотя и ради внутренней свободы, хотя обнаруживает в нас неизмеримую глубину этой сверхчувственной способности с ее бесчисленными последствиями» [19] — это положение Канта имеет очень ограниченный, вернее, самоограничивающий характер. И работает только в несвободном мире, то есть мире пространства и времени, как принцип внутренней свободы, утверждая, что и свобода может восприниматься беспричинной, ниоткуда в никуда. Умение полагать границы и создавать меру — как отношение познанное, но не приемлемое для безграничного и сверхчувственного становления снимающего свободу в основании, которое снимает узловую линию мер и обратную линию мер абсолютным снятием, и потому не знает времени, поскольку не знает ограничивающей лишенности.

То есть, приемлемо для чувств, которые в саморазвитии себя не достигли, а остались несвободными на уровне страстей и аффектов, и тем более не превзошли себя, утратив специфику различения по предмету. Здесь много объясняет, не скажу, ложно понятая, но в узких рамках работающая проблема воображаемых чувств, которые так же сильны и обладают реальностью. Как подлинные, действительные чувства, которые связаны с развитием в пространстве и во времени. Допустив, что пространство и время — только внешнее и внутреннее созерцание, можно объяснить многое из локальных явлений, до тех пор, пока в своем происхождении чувства — только формы абстрагирования, иноформы отчуждения и первичного обобществления, но не более. Чувства, как пространство и время, собственного саморазвития не имеют, и суть не меняется, пока мы их рассматриваем как эманации духа или атрибуты материи. Они изменчивы, и все же статичны. Другое дело, когда они включены в полное определение предмета, когда время и, собственно, пространство, понятое как процесс, являют собой реальное отрицание, которое в своей нетости действительно. Тогда пространство и время не репрезентируют нечто по своему образу и подобию, представляют, а выступают в своем субстанциональном обличье, наследуя эти свойства непосредственно в противоречии действия. Тогда чувства возвращают время и пространство субстрату движения, которое теряет свой ограниченный политэкономический характер и освобождаются даже от свободы, ушедшей в основание, в своей деятельной природе преодолевают пассив-

ность созерцания пассивного состояния души, пусть даже интеллектуального, выказывая склонность к сентиментальности, «доведенное до обмана сострадание, раболепие и лживость религии, ложное смирение, лицемерное раскаяние, вместо того чтобы испробовать свои силы противостоянием злу». И даже оставив зло, как несущественное. Обращаются на самих себя, как к единственному предмету, то есть тому, что берет свое начало в абсолютной красоте, которая не статична и не динамична, а совпадает с развитием материи, которой событие духа не противоречит, а представляет ее движущую преходящую силу.

Я могу, конечно, управлять своими поисками, и если бы я обратился к Шеллингу, то изменилась бы интонация, и текст был бы другой, но суть бы не изменилась. Здесь — точка схождения и расхождения. Противоречие без противоречия.

Это открывается вдруг и разумеется само собой. Слова приобретают странное звучание, когда просто примеряешь их или примеряешься к ним. Например, понимая буквально и обращаясь к художнику (не обязательно к маляру, а к себе вовне): «Если видеть у Тебя значит творить, а видишь Ты не что-то иное, потому что Ты сам объект самого себя, — Ты и видящий, и видимое, и видение, — то каким же образом Ты творишь вещи, отличные от Тебя? Ты должен тогда и творить себя самого, как видишь себя самого! Но Ты, жизнь моего духа, утешаешь меня, потому что хотя передо мной и встает стена абсурда, то есть совпадения творчества с сотворенностью, — невозможно, чтобы творчество совпадало с сотворенностью, ведь допустить это значит признать существование вещи до ее возникновения, раз она и есть, потому что творит, и ее нет, потому что она творится, — однако путь не преграждает. Твое творчество есть Твое бытие. Творить и вместе быть творимым для Тебя — не что иное как сообщать Твое бытие всему, будучи всем во всем и в то же время оставаясь абсолютно отрешенным от всего» [20].

Однако нет ничего более неочевидного, чем очевидность. Не только потому, что разорено само видение и глядение на произведение еще не означает видение, не говоря уже о прозрении. Зрение зреет исподволь и требует снятия противоречия представления и восприятия. Оно ничего общего не имеет со светоощущением, где свет еще — всего лишь раздражитель. Требуется высокая культура чувств, и, в первоначальном схоластическом понимании, «интуиций» (*intuitus originalrius* — первоначальное созерцание, *intuitus derivativus* — произ-

водное созерцание), чтобы восходить к *intellectus arhetypus* — интеллект-прообразу в интеллигибельном созерцании, погруженному в чувства, аналога которым еще нет.

Поэтому достояние нашего времени — когда художник вынужден выставить дополнительное освещение, чтобы объяснить, что происходит на самом деле, в сущности, а не кажется. Между кажимостью и видимостью простирается пропасть, поскольку видимость кажимости наталкивается на кажимость видимости — в единстве они составляют отношение или форму в чистом виде, и ничего более. Смысл абсолютного не в том, чтобы быть всем и ничем, а в том, чтобы быть «ничем более», «ничем, кроме».

Потаенность становится средоточием очевидности, принимаемой без доказательств, и комментарием. Она тавтологична. При этом противостоит «алетейе» и хайдеггеровской, и первозданной платоновской.

Отсюда — репродуктивное воображение, ввиду отсутствия уничтоженно-го и не возобновляемого продуктивного воображения, начинает терроризировать сериальностью и воспроизводимой уникальностью схематизированное и предзаданное, предопределенное пространство времени. набросок не набрасывается. Он — что попало. Пространство при-отражено в себя и является пространством бокового зрения, попадая искоса. «Искос» — искус современного искусства, попытка бросить взгляд на себя, извернувшись, без зеркала, вдогонку, а не в упор. Это взгляд по касательной, но наотмашь, образ разбивается на бесчисленные осколки, каждый из которых содержит целое и может дробиться, индивидуализироваться до бесконечности.

Придется переписывать весь текст, и желательно языком оригинала, да упомянуть поздних изощренных развивателей, которые вложили в тексты Кузанского много своего, например, того же Спинозу (но тот ли это Спиноза?), с природой сотворенной и природой сотворяющей, или Шеллинга с его диалектикой предела, наконец, учитывать все: невероятную глубину проблемы интеллигибельного созерцания и дальнейшего развития идеи чувственно-практической деятельности, лежащей в основании, и, более того, представляющую собой общественную форму движения материи.

И никто не вдумается и вчувствуется, о чем это, нечем ни думать, ни чувствовать, нет органа, не сформирован. Только искусственные рецепторы, замечатели, шаблоны. Нормы, образцы, лекала, эталоны, которые разрешены к упо-

треблению. Будет тупо мурыжить «общественную форму движения материи». Морщиться: «фи, это марксизм», не удосужившись разобраться, сопротивляться, — хоть напиши целые тома о том, что такое «форма движения», что такое материя, которую тупо путают с веществом, хотя уже отцы церкви такого себе не позволяли.

Все силы идут на то, чтобы заставить думать и преодолевать обыденные суеверия в их очевидности и т. д. вместо того, чтобы заняться ликбезом, принять к сведению и идти дальше. Нет, жизнь тратится, чтобы к старости смутно узнать, что это общеизвестно, и упокоиться. Можно и нужно не просто принять как данность уже готовое решение, как, например, в проблеме идеального, а развивать саму проблему, когда предыдущее решение не отменяется. И другое не предлагается взамен, а развивается, доразвивается до основания и снова становится загадкой. Когда вопрос, скажем, об идеальности чувств ясен, а о воспитании и развитии этих чувств ничего не известно, они требуют практического решения и даже грубого производства, создания, а тут — ничего не ведомо и каждый шаг опасен, так как не только человеческие, но и бесчеловечные чувства происходят по одним и тем же законам, и критериев этих чувств нет, как и понятия, какие они, эти чувства: злые или добрые, прекрасные или безобразные (чувствуете неловкость или даже фальшь?), да и чувства ли они, или нечто, выдаваемое за них.

И сколько странных побочных эффектов, отблесков, которые, как блики на бегущем потоке, играют переменчивостью. Даже не знаю, проблема ли это. Но встает вопрос о создании лица, своего рода физиогномики истории, ее рельефа во всей неповторимости. Есть достаточно исследованные моменты эстетизации истории, не приукрашивания ее, а переживания; более-менее понятны штрихи ее деэстетизации в поисках истины, демифологизации, вплоть до откровенной клеветы на сердешную, «анэстетики», но есть черты времени, которые слагают лик истории, запах и ощущения, когда в ней просто неудобно, когда она чужая и не воспринимается.

Когда ты видишь в истории не отражение своего лица как истину формы форм, подобострастно возвращающее твое лицо как истину во всех отношениях, искажениях, которые ты не представляешь и знать не знаешь. Причем изображение — не истина, а образ абсолютной истины, но ты не узнаешь себя в этой отчужденной форме, и знать не хочешь, и изменяешься в лице, не изме-

няясь. Истина твоего лица — в изменяемости, тогда как абсолютная истина совершенного — в неизменности. С каждым шагом прошлое меняется неповторимо, но, оставаясь на месте, ты не избежишь изменения. Как утверждает все тот же Николай из Кузы: «Перестать быть истиной моего лица абсолютная истина не может: если бы перестала, не осталось бы самого моего лица, изменчивой истины, которая существует от той абсолютной истины» [21]. Мое Я — только подобие истории. Моя воля бесконечна в страсти и быть и не быть, без «или».

Увы, прав Шелер, когда говорит, что отношение (она же форма форм), подменяет субстанцию, можно продолжить, что отношение, как «постав» бытия (Хайдеггер), обнаруживает динамику, сметая статику. Форма — процесс, и потому аморфна и представляет движение, сменяется превращением в основании, то есть, она — становление становления, что видится той же субстанцией. Но истина уже никого не волнует, она игнорируется и подменяется простой адекватностью, себеподобием и самотождественностью. Истина в своей развивающейся и развивающей субстанции не адекватна даже себе. Истина лжет, изменяясь, и то, что подводит черту, является искаженными чертами ее лица, которое, как и смерть «играет от первого лица» (Рильке).

Время в современном искусстве сжимается в мгновение. Оно не длится. «Объем времени» (Кант) исчерпывается целиком, аккумулируется вдруг. Собственно, задача современного произведения — представлять не вечность, а мгновение, сморгнуть миг с ресниц и проглядеться в мановение ока до основания, до ничто, которое — не только образ современной физики в виде «темной энергии», но и потенциальная энергия искусства, исчерпавшего было возможности своей претензией на актуальность. Искусство живет только потенциальной бесконечностью. «Вещь для нас» для художника оказывается «вещью в себе». Непостижимым оказывается явление. Сущность дана целиком в создании, творении. Когда не только зритель рассматривает бесцеремонно произведение, но и произведение стягивает в свое пространство зрителя, более того, в упор его не замечая, но нехотя привязываясь к нему. Художник здесь не кукловод, а исчезающий момент. Своим исчезновением, а не декларацией воли, он дает произведению хрупкую возможность быть. Находясь в пред-явлении, пред-чувствии, представлении, которое может быть идеатумом новопрествления жизни, когда умерщвление формы не предугадывается, а требуется. Пронзительная видимость оборачивается тотальной слепотой, когда пространство выбирает свою

определенность наощупь. Здесь «здравый смысл», пытающийся все объяснить, бессилен. Задача изначально состоит в том, чтобы создать непознаваемое, но опознаваемое, узнаваемое, но непостижимое, то есть, восстановить тайну, но как узнанную в лицо. Не пытаюсь «оскорбить сущность», уличить ее откровением. Видимость — невидима. Я поставлен в такие условия, что безусловным является только акт творения, и он заставляет меня нарушать привычные представления и применять в непривычных смыслах устоявшиеся понятия (метод, стиль, символ, схема и т. д.), чтобы вызвать турбулентность самого времени и заставить вздрогнуть от «неправильного» употребления ревнителей и охранителей «данности». Это как окрик: «Смотрите!!!» среди безликой безглазой толпы.

«Жизнь явно есть тоже самодвижение. Поэтому душа, раз она подвижна сама собой, живет истиннее, чем человек, который движим душой» [22].

Здесь — рассмотрение не только сущности человека в его представлении, но и действительной сущности человека в его нефункциональных свечениях, своего рода озарениях, не стесненных причинно-следственными связями, своего рода оптика, где именно видение, кажимость является сущностью, а невидимое — средоточием явления.

Попытка застывшего, механического взгляда, перемещающегося по плоскости произведения. Очнуться и увидеть все сразу в его превращении, в развитии. Здесь — ритм, размер, траектория, метр, число, движение, выворачиваются из привычных координат, и время предстает в своей последовательности и одновременной одновременности возникновения и уничтожения. В этом — музыка живописи. «Глаз слышит» (Клодель) (а чувство по определенным источникам происходит от старорусского «чути»), восприятие картин возможно на слух, и эта бесконечная возможность и есть актуальная бесконечность.

В сущности, актуальной бесконечности современная живопись и искусство вообще не знает, они всецело в потенциальной бесконечности. Свернутой в мгновение. Нездешняя здешность и посюсторонность. Пределы запредельности по эту сторону жизни и художника, и произведения. Здесь нет фальшивой натужной экзальтации, пытающейся представить художника пророком, прорицателем, предсказателем.

Прорыв, прободение будущего, разрыв с настоящим вневременным, превращение совершается не как тоска по несказанному, но именно как ностальгия по бесконечности, которую похищает отрешенное от творящего произведение.



Произведение, отпущенное на волю, возможно со всех точек зрения и во всех отношениях, то есть абсолютно, но ни в каком одном. Его внутренняя жизнь всецело об-наружена в явлении в себе — в этом его внутренняя необходимость и безусловная свобода его в невозможности быть этой потенциальной абсолютностью, потому что для универсальности ей не хватает именно невозможности. Произведение ущербно на целую невозможность, что и определяет его уникальную форму.

Границы формы не только в том, что произведение есть, но и в том, что оно есть как одна и та же граница. Поэтому произведение «подражательным воображением» принимает и продолжает метаморфозу художника, которую он уже пережил в творении и создает своим еже мгновенным возникновением и исчезновением те единственные пространство и время, которые становятся условиями его развития.

Что там художник воображает о себе, что говорит — не имеет никакого значения и ничего не доказывает, имеет смысл только то, что он есть на самом деле. Если он продажен — это беда самого художника, и никак его не оправдывает. Он может быть каким угодно подлецом, и это не будет его сущностным определением, даже личным качеством, что, впрочем не является и индугенцией. К большинству современных художников, независимо от пристрастий, особенно, составивших себе имя, вполне приложимы слова Шкловского, и это только забавные наблюдения и зарисовки с натуры. Вполне по силам разом изменить эти поведенческие реакции, просто не пожелав действовать по случаю и, спохватившись, не играть в общепринятые игры: «Взрослые художники перед успехом, для них неожиданным, похожи на кроликов. Кролики легко образуют массовки, но не знают, куда им идти, и предвидеть будущее не умеют. Они только оглядываются друг на друга [23]. Наверное, посмотрелся Братьев Васильевых, которые в ту пору снимали научно-популярный фильм о королевстве.

Произведение, как и художник, находится не просто вне времени и пространства. Пространство и время — «органон», в котором и которым они развиваются и могут гибнуть. Не со-временность, а до-временность. Где время свободно только потому, что мир был бы без него не полон, и потому время рядится в одежды внешней необходимости, что запечатлевается обыденным сознанием в сентенциях, что «время» заставляет все преходить, время стирает следы,

время лечит, хотя само оно бессильно. Для искусства вполне достаточно видеть в пространстве и во времени лишь чистую форму внутреннего и внешнего чувственного созерцания. Или представление, лежащее в основе всех созерцаний. Главное — безусловно видеть, созерцать. Видеть временем и пространством во времени и пространстве, как будто они — не бездушная оптика (оптика не видит), а живые глаза. Может статься так, что видеть будет нечем, тогда придется смотреть написанными глазами, очами очевидными.

«Выходит, истина всякой становящейся вещи с необходимостью есть ее прообраз, каким является ум бога. Тем самым становящееся будет образом этой ее прообразующей формы, ведь истина образа не образ (почему? может же быть образ образа. — А. Б.), а прообраз; если же становящееся не истина, а образ истины, то неизбежно получается, что нисходя от непоколебимой вечности, оно принимается в изменчивом субстрате, где принимается не таким, каким оно есть в вечности, а таким, каким *может* стать» [24].

Может быть — может стать — не может быть. Все время мысль скатывается на странную задачу построения телеологии, как будто это и есть проекция будущего, его создание и универсальный метод. В качестве отмычки, или, того хуже, фомки. На самом деле телеология обращена в прошлое. Цель укоренена в бывшем и стремится к нему, к бывшему совершенному, стремясь превратиться в причину, в условие и методологию. Микроидеологию идеи, которая всегда деспотична в своем воплощении. Она знает только деспотическую свободу (не путать с тотальной), обретая в этом единство цели и воплощения.

Хотя, если быть точным, пока есть методология, метод слеп и не работает. Как глаз в разрезе не видит. Когда метод в действии, он — исчезающий момент, и себя не помнит. Пугливое обращение к методологии и методу носят характер «магического способа поведения», заклинающую пустоту верящего в необходимость начала нового, которое непременно должно быть, именно непременно. Ради будущего, как «ради всего хорошего», «ради всего свято». Вызывание духов и прочие фаустовские мотивы.

Цель порождена не только потребностью, но и нищетой, убожеством настоящего, она сотворяет себе бога в виде цели. Цель, как это ни странно, в конце, она — не проекция будущего, а только кажимость — целиком и полностью укоренена в прошлом, утраченном, и является его достраиванием в утраченном. Цель это не «еще не», а «уже нет», репродуктивный ее характер явля-

ется пределом для исполнения. Она — отрицание, без которого невозможна полнота, и не только сбывшестъ, но и небытие.

Но истинное движение в абсолютной красоте бесцельно, здесь нечего больше желать, оно — тоска по отношению, относительно прекрасному, любовь к деталям. Целесообразное без цели — это только компромисс, примиряющий с существованием. Когда речь идет о человеческом бытии, возникает свобода. Ничем не обусловленная, беспричинная и не ограниченная даже понятием свободы, самосознанием и формой Я. То есть временной переход от чувственного созерцания к интеллигильному, в духе Шеллинга, не только правомерен, но и необходим, хотя это только контр-временная мера, вакцина против времени. Здесь — свобода в ожидании, в предзаданности. Какое-то время она — свобода надежды, и не расходитя с ней. Когда приходит пора расставания, свобода в своей сущности абсолютно безнадежна, она тотальна, должна быть таковой, не для того, чтобы исчерпать себя, а для того, чтобы избыть понятие, во всей полноте уйдя в основание, став основанием и пространством.

Однако до свободы и ее ухода в основание еще далеко. Необходимо в действии преодолеть бесконечность, избыть расстояние, снять пространство в непосредственном практическом движении, сотворяя его в качестве объективного и разрешив противоречие субъективного и объективного, пространства и времени, свободы и... свободы. Это действительная задача не будущего, как предстоящего, предвосхищенного пространства, а настоящего, которое живет, живет, а не которым живут.

Шеллинг совершенно прав в определенных временных пределах, когда утверждает, что я есть чистый акт, чистое действие, и для того, чтобы быть самим собой и самосознанием, знанием о себе, оно должно быть:

«а) абсолютно свободным, именно потому, что все остальное знание *несвободно*, следовательно, знанием, к которому не ведут доказательства, умозаключения, вообще опосредствование с помощью понятий, то есть созерцанием», то есть доказательство невозможно, только создание и явление, и дальше:

«б) знанием, объект которого не *независим* от него, следовательно, *знанием, которое одновременно есть продуцирование своего объекта*, — созерцанием, вообще свободно производящим, в котором производящее и произведенное — одно и то же.

Подобное созерцание, в отличие от чувственно созерцания, которое не яв-

ляется производящим свой объект, где, следовательно, *само созерцание* отличается от созерцаемого, называется *интеллектуальным созерцанием*» [25].

Можно было бы и не приводить эти громоздкие цитаты, поскольку сколько-нибудь грамотный человек, читавший Шеллинга, знает это накрепко, но суть в том, что речь идет о преодолении «я», которое по Шеллингу и есть подобное созерцание и возникает посредством знания о самом себе.

Буквальное становится букварным. На самом деле гипотетическое утрачивает возможность. Именно утрата превращает невозможное в ближайшую цель. Если коротко выразить общенный онтологический мотив и вероятный результат формулы — то это пропорционально согласованное развитие общества и индивидуальности в направлении порогового уровня сверхсознания, что является нонсенсом в науке, но сенсом, смыслом искусства, живущего утопией, в которой находит смысл жизни, но без самой жизни.

В нынешней ситуации, ориентирующей(ся) на со-временность, со-чувствие и со-жительство с жизнью, такая дуальность исчерпывает все возможности современного искусства, заставляя его биться в паучей вариаций в схемах, шаблонах и догмах, в «правилах приличия», в «так принятом» в тисках «жанра», стиля, «бренда» и прочего хлама.

Когда художник пишет, он делает это не потому, что у него появляется графоманский зуд, а произвольно. Не от нехватки выразительных средств, которые следует подпереть косноязычием плохо сложенных слов. Он бросает эти слова в действие от избытка, как Бенвенуто Челлини лом и серебряную утварь в тигель в азарте творения. Иногда это удается, но иногда нет. Причем это не обязательно живопись, а и сочинение музыки, писательство как таковое, любое творение, когда не важно, художник ли ты и как это все называется. Дисциплина ремесла предполагает некоторое присутствие всего остального, противостоящего производству, которое страдает от точности выражения и именно поэтому необъяснимо, не нуждается в объяснении.

Художник может изобретать доктрины, писать манифесты, исповеди, каяться, наконец, в том, чего он не совершал, но главное — он не обязан это делать. Его свобода — в откровении поступка, когда он имеет право на заблуждение и даже глупость «несусветну», где несусветность как раз свету и живописи. Чем точнее выражение в живописи, тем невнятнее текст. Единовременный образ разворачивается в последовательности времени, запечатленного в про-

странстве. Это не криптография, равно как и произведение — не криптограмма, нуждающаяся (труждающаяся) в дешифровке, это пласти, хоры, антифоны музыки, молчания и живописи, где серийность — орнаментальная десакрализация пространства, не отрекающаяся от времени — «поворот» изменением ракурса. Так что письмо — от избытка видения, и оно, в отличие от визуальности, которая может отводить взгляд, неделикатно — в упор.

Здесь могут быть любые аллюзии. К примеру, излияния Кандинского, особенно в его знаменитой программной работе «Точка и линия на плоскости», где он, наверное, бессознательно усвоил гораздо более тонкие философемы о. Павла Флоренского. Его фантастически сомнительные, но, безусловно, гениальные работы, которые хочется принимать на веру, хотя знаешь точно, что это не так, по памяти: «Черты отрицательной философии», «Об особых точках плоских кривых, как месте нарушения их предела», «Анализ пространственности (и времени) в художественном произведении», «Закон иллюзии», «Значение пространственности», «Абсолютность пространственности», «Мнимости в геометрии», — сами представляют «глоток вина неожиданной свободы», о которой он печалился. Они представляют собой «нас возвышающий обман», поскольку дело не в решении, и не в «научности», а в решаемости всем существом и всеми возможными способами, утверждением без оснований и направлений в абсолютной пустоте (которую еще надо создать, исчерпав) и бесконечности, собственно, направлении развития, несмотря на заведомую напрасность. Развитие всегда «позади». Поэтому проще бы назвать все это без всяких аналогий, но с благодарностью к жившим «до»: «Пространство и время на плоскости». Тогда оправдано рассматривать время как круг, а пространство — квадратным. Как это делает, например, художник Виктор Сидоренко [26].

Привожу конспективно, но дословно, частное сообщение, как образец типично нетипичного художника современности; можно было бы сослаться и на других, если бы они могли внятно сформулировать мысль. Эти рассуждения не вызывают «удручающую печаль», а отличаются ясностью, которая высказана со всей имеющейся прямоотой.

**«Украинский синдром.**

Это особенности языка народа, на котором он задает вопрос о переходе в следующий мир.

**Формула художника.** Рассматривая предпочтения и ожидания, возникаю-

щие у различных категорий уважаемой аудитории, вернее, визитории произведения и художественного процесса, отчасти закономерно, отчасти спонтанно, я, как художник, оказался в следующих размышлениях, хотя художник не должен ничего объяснять: смысл живописи — в самоочевидности. Мое произведение — это мое предположение о вероятностях решения одной и той же проблемы, которую на данном этапе иконологических изысканий я назвал «Украинским синдромом» (который может быть не менее смертельным, чем китайский). Так вот, предпочтения и ожидания, в том числе и мои, связанные с темой «вознесения над» (которое может отказаться «схождением в ад»), изменяются, переходя от серии к серии. Вариации этой темы — «Левитация», «Погружение», «Отражение в неизвестном», «Потоки», и, наконец, «Осуществление», получили несколько сопутствующий аспект в виде концептуальной канвы, нашедшей свое выражение в названии «Купола». Символизм купола, свода передает собирательность, концентрацию смысловых подтекстов, квинтэссенцию экспериментальной разнонаправленности образов общей темы. Или свод воедино, фокус параллельных линий, отражающихся от параболического сечения в общем «конусе» когнитивного семиотического аквариума концептуального вернисажа «человека» Сидоренко. Таким образом, «Купола» — это заданная функция, фокус актуального рассмотрения не только темы «Человека» в актуальном русле, определяющемся текущим моментом, но и в общем информационном пространстве искусства, культурных движений, социально-политических потоков.

Пространственный купол, смотрящий на плоскость визуального контакта... полностью внутри полотна с красной основой. Круг — циклическая динамика сакральных ритмов и глобальных временных циклов, повторяемость, репрезентация, но и преходящее. Покидание-накидывание, на «всегда»... Приходит в голову для сравнения кинометафора Ким Ки Дука «Весна, Лето, Осень, Зима... и снова Весна». Центр притчи — «и снова...» «Иной весны, которая пришла, но не тобою стала, не тобою» (Х.-Р. Хименес). Следующая весна — уже другая, похожая, но другая. Квадрат — символ новой методологии формирования мира. Нового мира — не как художественной абстракции, а как следствия осуществления определенного конструирования. Классический «сам себя конструирующий путь. Его алгоритм заложен в потенциале символа. Квадрат — это схема. Схема как стиль и путь реализации. Универсальный язык символического схематизма. Круг — это неизбежность, данность, время осуществления. Квадрат — метод осуществления.

И отношения квадрата и круга предельно диалектичны — время определяет метод. Неизбежность определяет альтернативу и одновременно ее отсутствие. Альтернатива как момент развилки, раздвоение единого и распутье — и начало перехода к новому. Вот такая квадратура круга.

*Метафизическая концепция.*

Круг плюс квадрат равно круг в квадрате, что есть предопределение нового качества. Это качество — необходимо. Но необходимость вызвана самим фактом проявления круга и, следовательно, появлением квадрата. Люди — это и есть новое качество, они носители перехода. Собственно, они и есть переход. Это базисная формула. Через нее я осуществляю онтологический аспект художественности. Художественность — мой личный интерес. Но он имплементирован в онтологический запрос, то есть, вплетен в интерес пространства. Таким образом, моя художественная метафизическая гипотеза передает инвариант построения пропорций индивидуального и пространственного. И при развитии гипотезы вариант может образовываться в модель, со всеми вытекающими «гуманитарными» последствиями, которые в буквальном смысле «не при чем».

Принципиальность мысли определяет культурный тренд. Великолепная двусмысленность, поскольку ракоход имеет все основания: «Культурный тренд определяет принципиальность мысли».

Вопрошать или не вопрошать, творя мир из ничего и ничего не ожидая? В безнадежности только потому, что «сила красоты действует объективно, она ничуть не менее реальна, чем сила тяжести» (П. Флоренский). Но ее тотальность, ее сила вызревает в нас, как «обнимающая сердце смерть», а не имитируя жизнь сугубо механически. Более того, любая мнимость, иллюзия и всё, что показалось, обретает черты грозной реальности.

Целесообразность вызывается опаздыванием и несоответствием своему понятию. Боюсь, мы опоздали навсегда, задержались без содержания в бессодержательности, тем самым обретая некоторую необязательность, принимаемую за свободу, и все дальнейшее развитие состоит не столько в оправдании этого процесса необретенной утраты, сколько в достраивании и преодолении скорости оставания, отставания, отстаивания, формирования будущего на величину потери того, сколько еще осталось, чтобы хотя бы теоретически соответствовать тому уровню, для которого перезрели все необходимые условия. Гнилая свобода бессилия. Нет, и невозможно. Утрата напрочь актуальной бесконечности.

Задача трансцендентальной эстетики и состоит в том, чтобы снять всякий предел и избыть свободу в основании, которое и есть становление, а не продуцировать границы определения, к тому же взятые на глазок, хорошо, если глазок художника, а не глазок в закрытой камере. Задача, которая давно решена, но решается каждое мгновение заново. Давно тому вперед. Задача очень далекого настоящего, которому не соответствуем, не потому, что не в состоянии, а потому, что отстаем от развития, сознательное слабоумие, и потому — сойдет и так.

Свидетельство тому — то, что я обращаюсь, — в данном случае, бросаюсь, как к спасительной соломинке, к надежности его мысли, — к Шеллингу, как к недостижаемому авторитету, далекой вершине, непокоренной и непокорной мысли (сейчас превалирует большей частью множество попкорновых мыслей, попкорновое мышление сродни клиповому сознанию), хотя по уровню развития должны бы быть давно тому вперед, решая и ставя проблемы, которые для Шеллинга, да и других персонажей, были бы немислимы. И это не вопросы как почистить компьютер (он действительно не знал, каким образом это сделать, как, впрочем, не смог бы припарковать автомобиль), а те вопросы, в которых мы чужие, например, о трансцендентальной эстетике, то есть о происхождении чувств в пространстве и во времени, где природа порождающая и природа порожденная — одна природа человеческой свободы, ушедшей в основание, которое — становление, и не чего бы то ни было, а становление становления, являющегося движущей энергией развития материи, которая стремится к абсолютной красоте ни почему и ни для чего.

Но мы опоздали навсегда, и наше завтра было уже вчера. Нам не предстоит даже ничто. Удача единична, и мы не ее предтечи. За всех не расписываюсь, может быть, кто-то видит смысл в ползучем существовании ожидания, но не я. Я не летописец. Писать о времени регулярно — задача для клерков. А немного «завтра» создается в молчании.

1. Гомбрович В. Дневник. — СПб., 2012. — С. 240.

2. Там же. — С. 241.

3. Там же. — С. 243.

4. Чередишченко Т. В. Музыкальный запас: 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. Литературный отдел. — М., 2002. — С. 33.



5. Там же. — С. 34.

6. Там же. — С. 43.

7. Все определения Единого у Парменида, кажущиеся сомнительными, приобретают здесь другой смысл, кстати, заведомо ложный, как, например, все, что написал Хайдеггер о философе, со всеми алетейями, дазайнами и несокрытым, и наши комментарии, предположения и прочтения текстов не соответствуют действительности, попробуйте даже современнику объяснить, что вы имеете в виду, а Парменид смолчит, и, тем не менее, действует просто, как мысль, сильная своим движением. Все знают, что Платон различал единое, одно и иное, и видел несколько типов единого.

Первый — противоположен всякой множественности и раздельности, он чистое «сверх», он «по ту сторону сущности»; второй тип единого является объединением множественного, не просто  $\eta\epsilon\upsilon\alpha$  («одно»), но  $\eta\epsilon\upsilon\alpha$   $\alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon$  («единое сущее»). Третий тип единого — единица, с которой начинается счет, противопоставленная любому числу из натурального ряда чисел (см. прим. 14 к диалогу «Парменид»: *Прокл*. Комментарий к «Пармениду» Платона. — СПб., 2006. — С. 364; а также: *Лосев А. Ф.* История античной эстетики: Последние века: В 2 кн. — М., 1988. — Кн. 2. — С. 45–52). Эту теорию развивает и Плотин.

По Пармениду, определение единого как беспредельного, бесконечного, неизменного, неподвижного, не возникающего и не исчезающего, лишено движения, то есть идеального бытия, противоположно пониманию Сфероса, который связан с миром чувственных вещей через отринутые Враждой единичности, у Эмпедокла. Очень впечатляют рассуждения Плотина о наличии бытия и единого в «существующем едином, в каждой отдельной из существующих вещей “сущности”, “жизни”, “ума”, “движения” и “единого”», которые взаимодействуют, но не состоят из частей, являясь целым.

Намеренно захожу издали, чтобы было видно, что эти же проблемы трансформируются и в знаменитом споре номиналистов и реалистов, они сейчас — не пустая забава. Возвращаясь к единству чувств, не пытаюсь присоединиться и заручиться поддержкой авторитетов. Сейчас существует «многоукладность» чувств и единого. Одно дело — абстрагирование в чувство, отчуждение в единое, отречение от предметности, обобщение, унификация, единообразие: все это есть, как моменты остаточного движения. Совсем иное — возникновение всеобщего и универсального, когда чувства отказываются от предметности, даже не овеществления, и сливаются в единое чувство, которое не отделено от живого движения матери и не становится субъектом.

Причастность конечному делает чувства конечными, причастность бесконечному делает множественность бесконечной (Дамаский), но и снимает множественность в себе,

как различные оттенки одного и того же. Не от нехватки, нестачи бытия по нужде, голодны чувства, а от избытка жизни.

В общем, меня в свое время несказанно удивляло «раздражительное» отношение Льва Толстого к шедеврам античной литературы, мировой музыки и поэзии, я не столь категоричен, но, если посмотреть свободно и непредвзято, то содрогаешься при виде того, чем мы восхищаемся, и что является предметом прекрасного, так что старик был прав отнюдь не из-за сварливого стариковского ханжества, и не из желания выпендриться, выдаться «ввысь», унижая то, что составляет гордость и суть человеческого и прекрасного, как делают сейчас некоторые, пиная его книги, впрочем, так было на протяжении всей истории человеческой культуры. (Досбрасывались с «корабля современности», что он вот-вот оверкиль совершит. Или залюбили «наше всё» до омерзения, облюновывали, содрогнулись от омерзения, *омерзались*, плюнули и пошли дальше в светлое будущее. Даже не хочу приводить примеры сентенций благодарных потомков, правнуков и прочей самонадеянной шушеры).

Это не значит, что надо отказаться от истории, но надо позволить этим шедеврам не прозябать в ней в законченном мемориальном состоянии, а создать пространства для их саморазвития в себя, и расти в иное до целостности единства, которое противоречиво и представляет собой «диакосмон», который почему-то переводится как «мироустройство» = «космогония». Единство как момент разрешения противоречия мгновенно, даже если длится миллионы лет, тем более, что не длится, не делится, и, будучи бесконечным, не дано «потом» и «прежде» — то есть, вне времени и пространства. Я не подгоняю, изгибая историю, как в свое время Гегель, под свою концепцию. Ничего не доказываю, просто люблюсь извилами, движением, может быть, неверно понятой, но все равно восхищающей чужой мысли, которая в свою очередь тоже может заблуждаться. Мог же пройти мимо и не иметь способности воспринимать с восторгом свою сопричастность этому. Был бы по-своему счастлив. Живут же люди, которых ни музыка, не поэзия не трогают, а уж философия им вообще ни к чему.

Можно, и это вполне объяснимо, формировать любые чувства, но в том-то и дело, что любые. И возвышенные, хотя чувства таковы по определению, как-то само собой разумеется, что человеческие иными быть не могут, и низменные — а вот это уже страшно. Любую мерзость можно превратить в тотальное чувство. Но даже если формировать только «истинно человеческие», не знающие аналога в истории, то и тогда озадачивает вопрос, что с этим делать, если они не ко времени и становятся разрушительными и жестокими в своем человеколюбии?

8. *Николай Кузанский*. Игра в шар // *Николай Кузанский*. Соч.: В 2 т. — М., 1980. — Т. 2. — С. 258.
9. *Адорно Т.* Исследование авторитарной личности. — М., 2001.
10. *Диадок Дамаский*. Комментарии к «Пармениду». — СПб., 2008. — С. 409–410.
11. *Барт Р.* Мифологии. — М., 2010. — С. 227.
12. Там же.
13. См.: *Brucker J.* Historia critica philosophiae, a mundi incunabulis ad nostrum usque aetatemeducta: [in VI voluminibus]. — Lipsiae, 1743–1744 (репринт: В 6 т. — Hildesheim; New York, 1975).
14. *Шелер М.* Проблемы социологии знания. — М., 2011. — С. 109.
15. *Шкловский В.* Эйзенштейн. — М., 1973. — С. 18.
16. *Николай Кузанский*. О видении Бога // *Николай Кузанский*. Соч.: В 2 т. — М., 1980. — Т. 2. — С. 53.
17. Там же. — С. 59.
18. *Кант И.* Критика способности суждения // *Кант И.* Собр. соч.: В 6 т. — М., 1966. — Т. 5. — С. 280.
19. Там же. — С. 281.
20. *Николай Кузанский*. О видении Бога ... — С. 59.
21. Там же. — С. 67.
22. *Николай Кузанский*. Игра в шар... — С. 265.
23. *Шкловский В.* Эйзенштейн. — С. 122.
24. Там же. — С. 275.
25. *Шеллинг Ф. В. Й.* Система трансцендентального идеализма // *Шеллинг Ф. В. Й.* Соч.: В 2 т. — М., 1987. — Т. 1. — С. 257.
26. См. цикл публикаций: Лабораторно-теоретичний практикум з творів сучасного візуального мистецтва: Ідеологема Віктора Сидоренка // Сучасне мистецтво: Наук. зб. / ІПСМ НАМ України. — К., 2012. — Вип. VII. — С. 6–84 (авторы: В. Сидоренко, Е. Аккаш, А. Босенко, В. Бурлака, А. Горшков, Д. Корсунь, Н. Мусиенко, А. Пучков, А. Сидоренко, М. Шкепу).

**Анотація:** На широкому історико-культурному матеріалі піддано рефлексії авторське враження щодо сучасного стану філософської культури, зокрема трансцендентальної естетики. Автор розмірковує про місце думаючого (і недумаючої) людини у світі, про про-

пущені досягнення і знайдені помилки, про ретроспекцію й проспекцію сприйняття розумової спадщини антиків в оболонці здоровогоглуздої громадянської позиції дослідника.

*Ключові слова:* трансцендентальна естетика, історико-філософська культура, сучасність, мистецтво, Парменід, Ніколай Кузанський, Шеллінг.

**Аннотация:** На широком историко-культурном материале подвергнуто рефлексии авторское впечатление о современном состоянии философской культуры, в частности, трансцендентальной эстетики, о месте думающего (и недумающего) человека в мире, о пропущенных достижениях и найденных ошибках, о ретроспекции и проспекции восприятия умственного наследия антиков в оболочке здравосмысленной гражданской позиции исследователя.

*Ключевые слова:* трансцендентальная эстетика, историко-философская культура, современность, искусство, Парменид, Николай Кузанский, Шеллинг.

**Summary:** The author introspects, using broad historical and cultural material, about current state of philosophical culture (particularly transcendental aesthetics), about the place of thinking (and non-thinking) man in the world, about achievements missed and mistakes found, about retrospection and propection of antiquity's intellectual legacy's perception from the good sense civic stand.

*Keywords:* transcendental aesthetics, historical and philosophical culture, modern times, Parmenides, Nicholas of Cusa, Friedrich Shelling.

#### **Надто пізно і трохи завтра**

*Босенко Олексій Валерійович*, завідувач відділу проблем естетики і культурології ІПСМ НАМ України, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

#### **Слишком поздно и немного завтра**

*Босенко Алексей Валерьевич*, заведующий отделом проблем эстетики и культурологии ИПСИ НАИ Украины, кандидат философских наук, старший научный сотрудник

#### **Too late and some tomorrow**

*Bossenko Oleksiy*, head of the Aesthetics and Culture Studies Department of the Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine, PhD in philosophy, Ast Prof.